

ЮРИЙ НАГИБИН

**НЕПОБЕДИМЫЙ
АРСЕНОВ**



ЮРИЙ НАГИБИН

НЕПОБЕДИМЫЙ АРСЕНОВ

РАССКАЗЫ



**МОСКВА
1972**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»**

Нагибин Ю. М.
16 Непобедимый Арсенов. Рассказы. М., «Физкультура и спорт», 1972,
145 с. с ил.

Книга известного советского писателя Юрия Нагибина состоит из рассказов, связанных между собой не столько общностью тем — рассказы о спорте, сколько общностью идеи: в них воспевается торжество добра над злом, непобедимая сила человеческого духа. Рассказы глубоко психологичны, проникнуты лиризмом, любовью к родной природе, родной земле — к Родине.

P2

6—9—1

БЗ № 3—1972 г.—№ 33

Ю. М. Нагибин
Непобедимый Арсенов

Редактор Н. Суслова. Художник В. Смирнов. Художественный редактор Г. Чеховский. Технический редактор М. Полуян. Корректор Э. Самыкина. А07785. Сдано в производство 6/IV 1972 г. Подписано к печати 5/IX 1972 г. Бумага тип. № 2. Формат 60×84^{1/16}. Печ. л. 9,0. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 9,77. Тираж 75 000 экз. Издат. № 4845. Цена 31 коп. Зак. 244. Издательство «Физкультура и спорт» Комитета по печати при Совете Министров СССР, Москва, К-6, Каляевская ул., 27. Ярославский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, Ярославль, ул. Свободы, 97.

СОДЕРЖАНИЕ

Непобедимый Арсенов	5
•	
Судьбы скрещение	15
•	
Бедный олимпиец	38
•	
Подледный лов	43
•	
На тетеревов	57
•	
Когда утки в поре	83
•	
Чемпион мира	98
•	
Среди профессионалов	136

Далеко не каждому человеку дано стать классным спортсменом, и далеко не все стремятся к этому. Но мне трудно представить себе здорового, полноценного человека нашего времени, который бы хоть как-то — в детстве, отрочестве, юности или зрелости — не прикоснулся к спорту. А если такие люди есть, то я их от души жалею. Не в том даже дело, что спорт развивает человека физически и морально, делает крепче его мышцы и выносливей дух. Спорт дает ни с чем не сравнимое счастье чистой борьбы, и не изведав этого чувства, ты словно и не жил вовсе. Причем слово «борьба» тут надо понимать широко: и в смысле прямого одоления соперника на ринге или футбольном поле, на ледяной дорожке или теннисном корте, и в смысле одоления самого себя. Ты поехал за город на велосипеде и вдруг почувствовал, что выдохся, не миновав и половины пути, но ты не сворачиваешь назад, а продолжаешь накручивать педали не из упрямства, а во имя чего-то высшего в тебе. Победа над самим собой, быть может, самая трудная и радостная из всех побед.

О людях, умеющих одерживать такие вот трудные победы, и написана эта книжка рассказов...

Юрий Нагибин

НЕПОБЕДИМЫЙ АРСЕНОВ

Фамилия у него была то ли болгарская, то ли грузинского корня. Арсен — народный герой Грузии. Но происходил Петя Арсенов с Ярославщины, и туда он ездил каждое лето в деревню к бабушке, под Ростов Великий. Была там старинная деревянная церковь. Однажды во время грозы в окошко влетела шаровая молния, прокатилась колом по полу, стенам и потолку, не миновала амвона и царских дверей и вылетела в то же окошко. Вся опаленная внутри по смуглому от возраста дереву церковь почему-то не загорелась — то было чудо, явленное ее покровителями Космой и Дамианом. Я любил эту историю, потому что рядом с нами, на углу Старосадского и Маросейки, находилась церковь тех же святых и моему патриотическому чувству льстило, что эти ребята — мастера своего дела. А чему обязан ярославский паренек красивым чуждальным звучанием своей фамилии, так и осталось неизвестным.

Внешний облик Пети Арсенова никак не соответствовал привычному типу ярославца — пригожего, румяного, кучерявого молодца, крепкого и гибкого в плотном теле. Городской заморыш в детстве, к юности он накопил себе какую-то мускулатуру, малость расширился в плечах и с наивной гордостью предлагал всем и каждому пощупать свои бицепсы. Добился он этого великим трудом, железным режимом, тренировкой и усердным посещением боксерского кружка при клубе металлостов. Но румянца и ярославской коленисти Петя так и не приобрел.

Мы бесконечно гордились Петей Арсеновым: еще бы, не в каждом доме есть свой настоящий боксер! В табели о рангах дворовых силачей он, конечно, занимал первое место. Вернее сказать, он был вне конкурса, его не ставили на одну доску с другими. Он был как бы профессионалом среди любителей, и никому не приходило в голову сравнивать его даже с Вовкой Ковбоем, первым дворовым силачом.

Вспоминая дворовую жизнь, я обнаруживаю в ней такую сложную иерархию, что это под стать царскому, а не городскому двору.

Сколько лет прошло, а я до сих пор помню табель о рангах наших геркулесов. За Вовкой Ковбоем шел Сенька Захаров, за ним Слава Зубков, затем Сережа Лепковский, внук народного артиста, и так до Борьки Соломатина. А кто шел за Борькой Соломатиним? Надо бы считать — Сахароза, а после того, как я осилил его в могучем единоборстве на глазах всего двора, место по праву принадлежало мне. Но в том-то вся тонкость, что на Борьке Соломатине кончался один ряд, а с меня после победы над Сахарозой начинался другой. Никому не приходило в голову сказать, что Юрка, мол, идет за Соломатиним. Там одна компания, здесь другая, и была еще третья, начинавшаяся с Мордана и кончавшаяся драчливо-плаксивым Мулей, остальное — безучетная мелюзга. В основе деления лежал возрастной принцип. Ни сила, ни рост, ни развитие — телесное и умственное — не играли никакой роли. Внутри группы можно было перейти с одного места на другое, хотя и с громадными трудностями — в дворовых порядках царил удручающий консерватизм, — а вот вклиниться в высший разряд вообще исключалось. Самый паршивенький герцог все равно титулованнее самого распрекрасного графа, и никуда от этого не денешься. Я не учел неизбежности иерархических форм и, упоенный своей победой над Сахарозой, «навтыкал» Борьке Соломатину. Тоже публично, к тому же два раза подряд, ибо, не поверив в поражение, он высморкал кровь и снова полез. Он был много старше меня, но в отличие от легендарного Зураба я не пощадил седин богатыря. Кончилось тем, что он разревелся, не от боли, конечно, — от унижения. Но напрасно ожидал я лавров. Старшие ребята глядели хмуро и осудительно. Я нарушил правила поведения, нарушил священный устав, привнес анархию в незыблемый миропорядок. Мой дерзкий поступок отрицал право старшинства, все привилегии возраста и жизненного опыта. К Борьке Соломатину относились как к человеку, которому кирпич свалился на голову. Несчастье чуть комического рода, но все же смеяться нечего: человек ни за что, ни про что тяжело пострадал.

И мои одногодки без всякого энтузиазма приняли эту победу. Нарушение традиции им тоже пришлось не по вкусу. Я оказался в незавидном положении принца Гомбургского: победа одержана, а победитель по уши в грязи. Через день-другой я прочел во взглядах старших ребят не только осуждение, но и что-то опасноватое. Сомнений не оставалось: меня ждет суровое возмездие. Я поднял дерзновенную руку не просто на слабосильного верзилу Соломатина, а на нечто высшее, затрагивающее всю дворовую аристократию, и мне не уйти от расплаты. И когда во время игры в ножички задиристый, щуплый Курица, стоявший в табели на ступень выше Борьки Соломатина, без всякого повода кинулся на меня и повалил, я пересилил искушение выбить дух из его хилого тела. С удивлением, близким печали, я обнаружил, что Курица, хоть и пожилистее и крепче Борьки Соломатина, тоже слабак, но голос высшего смирения произнес внутри

меня: покорись! Курица сплясал победный танец на моих костях и, оглядываясь на своих сверстников, молчаливо наблюдавших экзекуцию, спросил: «Получил? Хватит с тебя?» Он приметно дрейфил. «Хватит», — сказал я и увидел, как потеплели лица окружающих. Порядок был восстановлен, слава порядку!..

Гамбургского счета у нас не существовало. Он появился много позже, когда мы подошли к порогу юности. И вот тогда-то рухнули многие репутации. Мне пришлось отстаивать свое место под солнцем от самых неожиданных искателей славы, сущих сопляков, вроде сытенького Женьки Мельникова по кличке Бакалея (его отец заведовал бакалейной лавкой) или жалкого Мули, который набросился на меня, заранее обливаясь слезами. Я, в свою очередь, припомнил Курице давнишнее надругательство, а заодно придавил его старшего брата и покровителя Лёлика. Непомерно вознесся Слава Зубков, сокрушивший великана Захарова, и стал чуть не вровень с самим Ковбоем; пожух красивый и рыцарственный Сережа Лепковский; окончательно развалился Борька Соломатин. И все так же недостижимо высоко и ярко блистала звезда Пети Арсенова — Боксера, великого и непобедимого.

А вместе с тем кое-что могло бы навести нас на серьезные подозрения в отношении Петинной непобедимости. Со всех занятий в клубе он возвращался в жалчайшем виде, весь какой-то обмякший. Синяки под его коричневыми задумчивыми глазами никогда не исчезали, лишь меняли оттенок: от багрового до иссиня-черного и горчичного. Он шел тяжело волоча ноги, держа в одной бессильно повисшей руке чемоданчик с боксерскими принадлежностями, в другой — за шнурки — толстые перчатки. Он жаловался, что перчатки не помещаются в чемоданчике. Но мне кажется, Петя нарочно обходился таким маленьким чемоданчиком, чтоб таскать перчатки отдельно. Пусть все видит, что идет боксер. Скажу прямо, он походил на победителя, лишь когда отправлялся на свои занятия, но никак не на обратном пути. Впрочем, уязвлена бывала лишь его брэнная плоть, дух Арсенова не сгибался. И когда к нему обращались с традиционно-шутливым: «Ну как, здорово тебе всыпали?» — он, светясь всем своим избытым маленьким лицом, счастливо отвечал: «А то нет? Ребятки, будь здоров, дают! Да ведь и я малый не промах». И охотно верилось, что он действительно малый хоть куда и умеет за себя постоять. Этому не мешало и последующее его признание: «Я удар плохо держу», поскольку и это звучало отнюдь не похоронно, а тоже горделиво, как еще одно доказательство счастливой избранности. К тому же мы не очень-то понимали, что значить «плохо держать удар». Лишь много позже дошло до меня, как трудно приходилось Арсенову. И самому классному боксеру нелегко на ринге, если он плохо держит удар. А нашему Арсенову, что ни говори, было далековато до чемпиона мира. Ему приходилось брать подвижностью, чувством дистанции, филигранной защитой, темповой манерой ведения боя. «Где другой проведет один удар, я успеваю выдать серию», — со скромной

гордостью говорил Арсенов. Впоследствии видел немало таких боксеров и от души сочувствовал им. Они проводили бешеную серию, публика неистовствовала от восторга, а противник, спокойно переждав неопасный смерч, наносил всего один, но сокрушительный удар. И Петя Арсенов после своих серий нередко оказывался на досках ринга. Но он не придавал значения этому, считая несчастным случаем, глупым недоразумением, о котором и вспоминать не стоит. И потому всякий раз, придя в себя, он вновь становился непобедимым, ибо непобедимость — это неизменная вера в победу, другой непобедимости не бывает, всех рано или поздно укладывает на лопатки если не рука более сильного, то рука времени.

К шестнадцати годам обычное мальчишеское лицо Арсенова стало приобретать жутковатую застылость маски. Разбитый, перемолотый нос растекался за положенные пределы, ушные раковины, утратив рельеф, двумя плоскими лепешками прижались к черепу, шрамы стянули кожу, ограничив подвижность лицевых мускулов. Арсенова несказанно радовала перемена в его облике. «Сразу видно — боксер», — говорил он. Но, не ограничиваясь этим всплеском радости, объяснял скрытые выгоды внешнего превращения. Оказывается, самое страшное, когда под удар противника попадают хрящи, — это такая дикая боль, что ее невозможно вытерпеть. А теперь у него ни одного хряща на лице не осталось, он может вертеть, мять свой нос и уши, как будто они тряпичные. Но как-то не похоже было, что обретенное преимущество сильно увеличило победный список Арсенова. Он по-прежнему плохо держал удар. И по-прежнему возвращался из клуба металлистов еле волоча ноги, с перчатками, повисшими на шнурках в опущенной руке, надвинув кепчонку на заплывшие глаза. Как бы ни был Петя исполнен веры и надежды, не мог же он не переживать постоянных своих поражений, ну хотя бы не задумываться над преследующим его роком! Но по-прежнему, стоило обратиться к нему с сочувствующим или равнодушно-рассеянным: «Как дела?» — его разбитые губы трогались улыбкой, и увлеченно, любовно, радостно он принимался славить свое божество — бокс.

Арсенова угнетало, что ни его воодушевляющий пример, ни пламенная агитация не пробудили ни в одном из нас мечты о ринге. Мы не сомневались, что Петя может уложить любого из нас одной левой, но, видимо, это и отпугивало от боксерской карьеры. Какие же чудо-богатыри его соперники, если Великий Арсенов едва притаскивает ноги из спортзала!..

А потом, как я уже говорил, пришло время переоценки ценностей. Поначалу ничто не угрожало Петиной репутации. Но время делает свое дело и не знает пощады. Волна разведующего скепсиса докатилась и до Арсенова. Как-то раз, сидя на крыльчке и остужая свинцовой примочкой багрово натекший глаз, он рассказывал ребятам о поездке их боксерской группы в подшефный колхоз. Они ездили туда, чтобы привлечь деревенских ребят к боксу и к спорту вообще. Петя не

без юмора рассказывал о том методе наглядной пропаганды, который они там применили. Против Пети вышел первый силач, колхозный кузнец. Он размахнулся, целя Пете в ухо, ударил, но Петя ушел нырком, и могучий кузнец брякнулся наземь. И так продолжалось, пока кузнец не заплакал от досады и стыда. «А ведь я его пальцем не тронул, вот что значит техника культурного боя,— рассуждал Петя Арсенов.— Правда,— добавил он с обычной добросовестностью,— кузнец был маленько поддавши».

— Правильно!— подхватил Вовка Ковбой.— Потому он и падал. А ты закройся со своей хваленной техникой. Чикаетесь там с грушами и скакалками, а в простой уличной драке вас хрен увидишь!

— Конечно,— улыбнулся Арсенов,— настоящий боксер никогда не полезет в уличную драку. Да нам и нельзя.

— Это почему же?

— Убить можем или покалечить,— спокойно пояснил Арсенов. Вовка так и покатился со смеху.

— Это ты-то убьешь? Да ты в зеркало гляделся когда?

— Я мухач,— без всякого раздражения подтвердил Петя Арсенов,— но поставленный удар и у мухача опасен.

Помню, у меня тогда мелькнуло: неизвестно, как насчет силы удара, а силу характера бокс и впрямь воспитывает.

Ковбой явно лез на рожон. Ему хотелось оскорбить, унижить Петю, а тот вел себя как настоящий мужчина. Может, Ковбою надоело, что есть кто-то во дворе считающийся сильнее его, хотя силу эту ничем не доказал, кроме вечно подбитых глаз, изуродованных ушей и расплющенного носа. Тогда я еще не знал, какой жестокий ущерб понес недавно Ковбой в столкновении с самым тихим парнем двора Иваном,— они оба хранили тайну. Вовке нужно было победить настоящего боксера, чтобы возродиться в собственных глазах.

Арсенов был натурой слишком духовной, идеалистической, чтобы догадываться о коварных расчетах Ковбоя. Все ребята вокруг давно поняли обмершим сердцем, что Арсенова «вызывают», а тот просто душно пытался убедить Вовку в необыкновенных достоинствах и выгодах бокса.

— Буза! — твердил Ковбой.— Дешевое пижонство.

— Хотел бы я посмотреть, если б на нас с тобой напали ночью бандиты...

— Я дам по рылу—и драла!— дерзко бросил Ковбой.— А ты там останешься.

— Ясно не удеру.

— Нет, тебя принесут в белых тапочках.

Ребята засмеялись, и тут до кроткого Пети Арсенова наконец дошло, что над ним издеваются.

— Жаль, что ты не знаешь правил, Ковбой, я показал бы тебе, что такое бокс, хоть ты выше и тяжелее меня. А сила удара—это скорость, помноженная на вес.—И Арсенов радостно улыбнулся.

— Знаю я ваши дурацкие правила,— сказал Ковбой.— Я в парке бокс сто раз смотрел. Не бить ниже пояса, по затылку и открытой перчаткой. И головой не бодаться. Подумаешь. сложная наука!

— Жалко, жалко, что больше ничего не знаешь! — покачал головой Арсенов.— А то бы я тебя маленько проэкзаменовал.

— Брось трепаться, ты просто трусишь!

Вот этого Ковбою не следовало говорить. Разбитое лицо Арсенова выбелилось, и черной полумаской стали глазницы, натекшие разбитой кровью.

— Ты три раунда выдержишь? — спросил он.— Я тебя не изувечу, не бойся. Но ты раз и навсегда поймешь, что такое бокс и какой ты дурак.

Ковбой, конечно, затеял бузу: ему плевать на всякие раунды, он «сделает» Арсенова безо всяких, но тут уже Петя Арсенов сумел настоем на своем. Все будет по правилам: судья, секунданты, три раунда по три минуты с перерывами, как положено. Бой может быть прекращен ввиду явного преимущества, за неправильный удар — дисквалификация.

Пока расчерчивали квадрат ринга в садике, предварительно изгнав оттуда малышей, Арсенов сбежал домой за перчатками, полотенцем и графином с водой. Он успел переодеться: трусы, майка, спортивные, на плечи накинут ветхий мохнатый халат. Этот настоящий боксерский халат произвел на всех нас громадное впечатление.

Вовка ограничился тем, что снял брюки и рубашку, но этого оказалось достаточно, чтобы профессиональный шик Арсенова разом поблек. Сложен был Ковбой, как молодой бог,— широкая, плосковатая грудь, чуть покатые сильные плечи, сухие, легкие ноги, а мышцы — хоть анатомию изучай, и ровная, природная смуглота кожи. Нельзя сказать, что Арсенов был вовсе хилак. Какие-то мускулишки он себе накопил. Когда он приседал разминаясь, чувствовалось, что и связки у него упругие, тренированные. Но уж больно мелок и тощ он был, к тому же с головы до ног усеян рыжими наивными веснушками. Впрочем, непосредственное впечатление наверняка было благоприятнее для Арсенова, чем сейчас, по холодной памяти. Мы верили в непобедимость Арсенова и потому видели его крепкие бицепсы, а не жалкие веснушки, ловкие, уверенные движения, а не худые кости.

К моменту, когда судья Сережа Лепковский — он не расставался с книжкой Берроуза «Боксер Билли» и потому считался знатоком бокса — подал сигнал к началу боя, Арсенов не держал зла на Ковбоя и видел в нем лишь благородного соперника. Он священнодействовал, выполняя мелкие ритуальные действия перед началом схватки, его безмерно радовало, что наконец-то он предстанет перед двором во всем величии, покажет мужественную красоту дела, которому так преданно и бескорыстно служил, и, глядишь, уловит для своего храма несколько впечатлительных душ. Я уверен, он любил Вовку, принявшего участия в игре, согласившегося, чтобы все было по правилам, как,

наверное, любил и других соперников,— может, это ему и мешало?..

Но вот они начали. Петя Арсенов знал приемы, ничего не скажешь, и делал из Ковбоя дурака. Маленький рост работал на него. Ковбой бессмысленно молотил руками воздух. Арсенов шутя уходил от его неумелых ударов. Но мне подумалось: а если такой вот удар наступит Арсенова, пусть случайно, что тогда будет?..

Ответ пришел в третьем раунде. А до этого Арсенов играл с Ковбоем, как кошка с мышкой. Мы и правда увидели, что за красота бокс. Одно нас огорчало: Арсенов то ли не хотел, то ли не мог вмазать Ковбою как следует. А может, тут сочеталось одно с другим? Он наносил резкие, сухие удары по корпусу, раз-другой провел удар в голову, но Ковбой только встряхивался, будто его комар укусил, и снова лез вперед. Лишь раз серия коротких, частых, очень четких ударов Арсенова произвела на него впечатление. Он пошел пятнами, стал как-то странно встряхивать головой, будто возвращая мозги на положенное место, а глаза у него подернулись мутной пленкой.

В отличие от Арсенова, который в перерывах расслаблялся, требовал от секунданта Славы Зубкова, чтобы тот подавал ему воздух, смачивал затылок — словом, жил полноценной, боксерской жизнью, Вовка сумрачно стоял в своем углу, набычив голову и никак не отзываясь на предложение своего секунданта Ивана оказать ему положенные услуги.

А в третьем раунде он вышел с явным намерением кончать базар. Арсенов продолжал плести свое тонкое кружево, но сейчас это не имело успеха: Вовка лез на него с беспардонным, слепым напором, приличествующим драке у помойки, а не на ринге, пусть и воображаемом. Конечно, он не хотел сознательно нарушать правила, но неосторожность — палка о двух концах. Его размашистый, совсем не боксовый удар угодил Пете по затылку. Это было похоже на удар цепом. И совсем не красиво и не профессионально, а как-то по-лягушачьи бедный Арсенов распластался на земле.

— Неправильный, чего ты смотришь, дурак?! — крикнул Слава Зубков судье.

— Я и сам вижу, дурак! — огрызнулся Сережа Лепковский, но, похоже, он не знал, как поступить.

Запрещенный удар был нанесен так открыто и грубо, что следовало прекратить бой и дисквалифицировать Ковбоя. Но Сережа не решался на столь крайнюю меру. Арсенов поднялся.

— Это случайный! — сказал он Сереже. — Вовка просто промахнулся. Ты ведь правда не хотел? — В голосе его прозвучала мольба.

— Факт, не хотел! Ладно дурочку строить. Подумаешь, обидели мальчика!..

— Бокс! — сказал Сережа Лепковский.

С тех пор я знаю, что такое «плохо держать удар», и знаю, каким необыкновенным мужеством обладал Петя Арсенов, если все же не бросал бокс. После своего падения он делал внешне все то же, что и

раньше, но сейчас оставалась лишь видимость приемов, уловок. Он уже не доставал Ковбоя, а Вовкины удары все чаще достигали цели. Но Петя держался, он хотел дотянуть до конца раунда. Он даже пытался улыбнуться, лучше бы он этого не делал. Что чувствовал он в эту минуту, когда так беспощадно, грубо и неудержимо рушился миф о Великом, Непобедимом боксере? А может, он по-прежнему верил в себя и не допускал мысли о поражении? Его еще хватило на взрыв. Он скользнул под руку Ковбоя и забарабанил по корпусу. Кто-то захопал в ладоши, кто-то крикнул: «Во дает!» Ковбой улыбался неприятной, злой улыбкой. А потом он ударил. Попади этот удар в цель, все было бы кончено. Но Петя уклонился, и перчатка Ковбоя задела по касательной его лоб. Петина голова так качнулась, будто его рванули сзади за волосы. Ковбой отступил, улыбка сползла, он собирал всего себя для нового и, наверное, последнего удара. И тут на ринг упало полотенце.

— Брек! — крикнул ни к селу ни к городу Сережа Лепковский: ведь боксеры не были в клинче. — Ты чего? — растерянно обернулся он к Ивану, выбросившему полотенце.

— Ковбой в гроги, — громко сказал Иван. — Разве ты не видишь? Он же «плывет».

— Мне тоже так показалось... — пробормотал смущенный Сережа. Ковбой кинулся к Ивану.

— Кто «плывет»? Ты чего, спятил?!

— Объявляй победителя! — крикнул Иван судье и что-то сказал Ковбою.

И Ковбой ему что-то сказал с белыми от бешенства глазами. Иван ответил очень тихо, но мы все равно не услышали бы — такой стоял шум.

— Победил Арсенов! — крикнул Сережа.

Надо отдать должное душевной чистоте победителя, он без удивления принял свою победу. Поклонился зрителям, поблагодарил судью, кинулся к Вовке, схватил его руку в перчатке двумя руками и сердечно потряс.

— Я тебя не повредил, Ковбой? — спросил он участливо.

Ему ответил Иван:

— Все в порядке, Арсен. А ты бьешь — не гладишь!

— Не я, — скромно сказал Арсенов, — боксерская выучка.

Сережа Лепковский принялся объяснять непосвященным, что состояние гроги приравнивается к нокауту. Хотя боксер держится на ногах, он не способен к продолжению боя, как говорится, «плывет».

Мы приняли к сведению его объяснения. Но развернувшееся перед нами зрелище не показалось нам убедительным. Слишком много в нем условного. Дать по шее почему-то запрещено, а в глаз сколько угодно. Берущий верх вдруг объявляется побежденным, потому что он якобы «плывет». А кто его знает, «плывет» он или нет, ему-то самому виднее. Во всяком случае, «плавущий» или «неплавущий» Ков-

бой вполне мог прикончить Арсенова, не выброси Иван полотенце. Конечно, Арсенов показал всякие ловкие штучки, но Ковбою они вовсе ни к чему, чтобы набить рожу кому хочешь. Петя Арсенов ничего не знал о наших крамольных мыслях, он был полно и светло счастлив...

— Слушай, Ковбой, что сказал тебе Иван, когда ты к нему бросился? — спросил я через тридцать пять лет после описываемых событий.

— Помойка.

— Что значит «помойка»?

— Ну, он напомнил мне о той драке... у помойки, — неохотно пояснил Ковбой.

— А ты?

— Я говорю: не лезь, он мой, дай мне его сделать.

— А он?

— Если, говорит, ты сделаешь его, я сделаю тебя. При всех. Хуже, чем на помойке. Меня это не устраивало, — усмехнулся Ковбой, — и я поздравил победителя.

Разговор происходил недавно, возле той самой исторической помойки, где тихий Иван избил Ковбоя за издевательство над девочкой Лаймой. Прогресс коснулся и этого уголка Вселенной. Вместо громадного деревянного ящика, через край заваленного отбросами — их мощный дурман достигал моих окон на третьем этаже, равном нынешнему пятому, — стояли рядом жестяные амфоры с запирающимися крышками. Изящно, гигиенично и никакого запаха. Но и никакой поэзии. Сюда не придет дядя Митя, крючник, золотой человек, чтобы, покопавшись железным прутом, загнутым на конце, набить мешок всевозможными ценными отбросами. Дядя Митя обожал детей, вечно возился с ними, одаривал свистульками и оловянными солдатиками, добытыми в том же руднике.

Мы, трое пятидесятилетних людей — Лайма, Вовка и я, — сидели в крошечном садике возле помойки. Садик некогда принадлежал знаменитой Высоцкой, владелице крупнейшей дореволюционной чаеоторговли. Это она сказала крылатую фразу, всплывшую при нэпе: «У кого из нас нет двух-трех миллионов». Выселенная революцией из своих палат, старуха Высоцкая поселилась в нашем доме на первом этаже, в комнатах с окнами на помойку. Окна находились под прямым углом одно к другому, и сметливая старуха поставила заборчик от окна к окну, не только загородившись от помойки, но и выгадав себе треугольный участок, где посеяла траву, посадила цветы и врыла в землю лавочку. Межжонья она увила плющом и диким виноградом. И хотя весь ее надел был чуть больше тех садиков, что андерсеновские хозяйки выращивали на подоконниках, домовый пролетариат не мог смотреть сквозь пальцы на хищнические действия старой акулы. Потребовали, чтобы Высоцкая сделала свой сад доступным для всех граждан, проживающих в доме. Старуха повиновалась, но повесила

объявление, что в открытом для массовых гуляний саду «категорически запрещается ездить на велосипеде».

И вот в этом-то «саду» мы встретились. Удивительно, что зеленый треугольничек уцелел при всех перестройках дома, даже разросся, — конечно, вверх, по стенам, вширь некуда было. Веточки дикого винограда с красноватыми листьями достигали третьего этажа. У каждого из нас были дом и семья, но то принадлежало настоящему и будущему, нам же хотелось выкроить себе уголок чистого прошлого в сегодняшнем мире. Лайма сказала: «Сады Семирамиды Высоцкой», и мы сразу поняли: это то, что нам надо. Уединенно, тихо, прохладно, к тому же овеяно дыханием былого. Разросшийся виноград совсем закрыл окна, обеспечив нам укромность. Вот только лавочка оказалась маловата — уж очень мы «выросли», особенно Ковбой. Высокий, стройный юноша стал громадиной, красивой, предстательной, но прямо оторопь брала — до чего же много этого человека на белом свете! Мы с Лаймой тоже не былинки и все же занимаем куда меньше места в пространстве. Я низкоросл, а Лайма, зятая во все свои дамские штучки, ну, не тростинка, конечно, — какой там! — но вполне в норме. К чести Вовки, он не отяжелел, не утратил подвижности. Вообще-то наружность у него как раз по занимаемому посту. Предупреждая всякие шуточки насчет его выдающейся карьеры, Ковбой сказал, едва мы обменялись рукопожатием:

— Давай сразу — чего тебе от меня нужно?

— Чтобы ты вернул мне молодость.

— Вот этого-то я как раз и не могу.

Он ошибался, он делал это — фактом своего присутствия и тем, что сам не вовсе покинул страну детства. По разным причинам не отпускало нас детство. У меня это как раз связано с писательством, а у него — с немолодой женщиной, так старательно затянувшей свое расплывшее тело, так естественно соединившей на увядшем лице ухищрения косметики с молодым блеском глаз.

— Мне казалось подлостью, что Иван напомнил мне о той драке, — продолжал разговор Вовка. — Я считал его выше этого...

— Я тоже! — покраснев, воскликнула Лайма. — Я была уверена, что он никогда, никогда этого не делал.

— «Никогда» — фальшивое слово, — сказал Вовка. — Сколько раз я убеждался, что за ним большой или малый обман, порой невольный. Если женщина говорит, что она «никогда» не изменяла мужу, понимаю: она изменяла ему реже, чем могла бы. Они «никогда» не виделись... Да нет же, виделись случайно раз-другой — на улице, на вокзале, в кафе, у общих знакомых, или почему-то в Феррапонтовом монастыре, или на вершине Эвереста. Вообще все крайние утверждения требуют осторожного подхода. Иван никогда не напоминал о нашей драке, но вот раз напомнил и правильно сделал. Тогда я этого не понимал. Он не стал объясняться со мной, только сказал: «А ты думал, я позволю его убить?..» Ваня был мудр. У себя в кружке Арсенов

проигрывал — что же, другие лучше держали удар, тоньше маневрировали, все это происходило в горных высях. А здесь — кошмар, конец света, гибель всех идеалов, смерть мечты! Я потом был здорово рад, что Ваня меня удержал. Иногда ночью ворочаешься без сна, мысли одолевают, вся прожитая жизнь наваливается. И вспомнишь про Петьку Арсенова — и что-то отпускает внутри. Помните, как в священном писании: «Удержал ангел господен занесенную руку».

— А какая судьба у Пети Арсенова? — спросил я.

— Погиб. Почти в одно время с Иваном.

— Чуть позже, — поправила Лайма.

— Подробности неизвестны?

— Какие там подробности! Мать получила похоронную: «пал смертью героя»... Так ведь всегда писали, даже если от шальной пули. И правильно, для каждой матери сын погибает смертью героя... Но знаете, я уверен, что тут слова о героической смерти надо понимать впрямую. Он погиб так скоро... в самом начале, когда, помните, грудью против танков. Это как раз для Арсенова. Он же был Великий боец, его никто не мог сокрушить, хотя он плохо держал удар. Если когда-нибудь докопаются, что неизвестный боец остановил грудью фашистский танк на подступах к Москве, то не сомневайтесь — это Петя Арсенов... Но если так... если это было, то лишь потому, что раньше другой мальчик, Иван, спас его непобедимое сердце.

СУДЬБЫ СКРЕЩЕНИЕ

Мы собрались в Кратово на велосипедах. Дело было под Первое мая. И надо же, в канун праздника, когда душа уже настроена на гулевой лад и в мыслях легкость необыкновенная, математик Михаил Леонидович закатил нам контрольную по тригонометрии. А мы-то хотели отпроситься с последних уроков!..

Задачи, правда, оказались несложные. Я отнюдь не блистал в математике и то решил их без труда. И Лиза Кретова решила, и Саша Сидоров, ну, а Леня Бармин и свои решил, и соседовы. Как назло, заело у командора пробега Бориса Ладейникова, едва ли не самого сильного в классе по математике. Пожалуй, лишь Леня Бармин мог с ним потягаться. Ну, Леня и остался на высоте, а Борис марал листок за листком, ерзал, вертелся, строил отчаянные рожи и ни черта не мог из себя выдать.

Видимо, почувствовав уколы совести, Михаил Леонидович разрешил нам по сдаче контрольной сматываться домой. Поблажка немалая, ибо на контрольную было отпущено два урока. И вот, вместо того чтобы накручивать километры, мы бездарно торчали в классе, тщетно пытаясь оказать помощь нашему занемогшему товарищу. Его

парта стояла впритык к учительскому столу. Михаил Леонидович, прикрыв глаза за стеклами очков толстыми веками, казался погруженным в дрему, но мы-то знали коварство этой мнимой отрешенности. Он, как лев, всегда был готов к прыжку. Все-таки Лиза Кретова отважилась подбросить к парте Бориса туго свернутый бумажный шарик. Толстые веки учителя дрогнули, но он никак не отозвался на Лизину выходку, поскольку Ладейников шарика не заметил.

Леня Бармин с решительным видом поднялся и, прихватив тетрадку, направился к учительскому столу. Проходя мимо Ладейникова, он уронил на парту промокашку с решением задачек. Борис тупо-негодующе глянул на Леню и смахнул промокашку на пол.

Красный от злости, Леня громко захопнул за собою дверь.

— Промокашка! — шепнул я Ладейникову. — Промокашка, дурак!..

— Что вам нужно? — не размыкая век, спросил Михаил Леонидович.

— Промокашку, — растерянно отозвался я.

Михаил Леонидович жестами слепца нашарил на столе промокашку и протянул мне.

Я принялся старательно промокать давно просохшие чернила.

Лиза Кретова сказала громко:

— Будь любезен, Борис, передай Михаилу Леонидовичу, — и сунула ему раскрытую на контрольной тетрадку.

Это было сделано с тем невероятным нахальством, на какое оказываются порой способны лишь самые тихие ученики.

— Ишь, барыня нашлась! — сердито отмахнулся Ладейников.

Лизе ничего не оставалось, как самой отнести контрольную и покинуть класс. За ней последовал я — нельзя же промокать до бесконечности! Уходя, я заметил, что возле Ладейникова вырос Саша Сидоров с торчащей из кармана шпиргалкой. Может, луч света наконец-то прорежет мрак, окутавший рассудок Ладейникова?..

Губастый, добродушный Саша Сидоров вышел из класса и аккуратно порвал испещренный тригонометрическими значками листок.

— Боря законченный идиот, — безгневно сказал Саша. — Шпиргалку видели все, в первую очередь Михаил Леонидович, все, кроме Ладьи.

— Братцы, а может, кратовская дача — плод большого воображения Ладейникова? — сказал я.

— И озера тоже? — подхватил Саша Сидоров.

— И само Кратово? — свирепо заключил Леня.

— Кратово, во всяком случае, существует, — сказала Лиза. — Я жила на даче по Казанской дороге. В Ильинском. За ним — Отдых, дальше Кратово.

— Теперь мы засветло не доедем.

— Мы бы и так не доехали.

— Хватит трепаться, — прервал Леня. — Все на колесах?

— Все.

— Кроме меня,— сказал Леня.— Но мне — рядом.

Он побежал за велосипедом, а Саша Сидоров сообщил с грустным видом:

— Я поеду на недомерке.

— На каком еще недомерке?

— На дамском. Для девочек-подростков. С щитком на передаче, чтоб юбку не порвало, но без рамы.

— Как это без рамы?

— Без верхней стойки рамы. Знаешь, на которой пацанов возят...

— На кой она тебе? Ты же не повезешь пацана в Кратово.

— Нет, конечно. Он еще и без крыльев.

— Где ты такого уroda раскопал?

— Соседи дали. У меня своего нету.

Одновременно со звонком из класса выскочил красный, потный, взъерошенный Ладейников.

— Решил-таки, чтоб вам пусто было!

— Ну ты хорош!..— начал Саша Сидоров.

— Это вы хороши! — возмущенно перебил Ладейников.— А еще товарищи! Подсказать не могли?

— Ребята правы, ты ненормальный,— тихо сказала Лиза.— Тебе подсказывали со всех сторон — и устно, и письменно.

— Правда, что ль? — смутился Ладейников.

Ему не ответили.

— Ну ладно... Затмение нашло. Старость, склероз... Поехали?

— А не поздно?

— Какой поздно?.. Четырех нету. Я только за велосипедом сбегаю.

— Что же ты раньше думал?

Ладейников не ответил. Перескакивая через три ступеньки, он помчался по широкой, со стертymi ступеньками лестнице вниз. Он жил в двух шагах от школы, в громадном доме политкаторжан, на углу улицы Машкова и Покровки. И все же прошло не меньше получаса, пока он вернулся. За это время Борис приобрел нового спутника — Алика Капранова, с которым жил дверь в дверь.

Алик недавно пришел в нашу школу и успел стать заметной фигурой. Впрочем, попробуй его не заметить — Алик прямо-таки ослеплял своей невиданной эlegantностью. В ту пору лыжный костюм был чем-то вроде школьной формы и у парней, и у девушек. Алик же щеголял заграничными замшевыми курточками, брюками «гольф», ботинками на толстом, упругом каучуке, придававшем шагу кошачью мягкость. Его отец работал в каком-то торгпредстве за рубежом, и Алик ездил к родителям каждое лето на каникулы — «прибарахлиться», говорил он небрежно. В доме политкаторжан Алик оказался не в силу революционных заслуг «предков», а по обмену. Он жил там с моложавой, энергичной, черноусой бабушкой, души не чаявшей в красавце внуке.

Конечно, нарядными курточками можно вызвать у окружающих лишь короткий, чуть иронический интерес, популярности на этом не заработаешь. Но стройный, мускулистый, природно смуглый, легко и нежно, будто невзначай, улыбающийся Алик брал всем: прекрасно играл в футбол, бегал на коньках, ездил на велосипеде и был знаком с боксом. В последнем не преминули убедиться те задиристые ребята, которым некоторая экзотичность Алика представилась дряблой незащищенностью. Алик с беспечной улыбкой и без всякой злобы расквасил несколько носов и тем утвердил себя даже в самых недоверчивых душах.

Учился Алик хорошо и без малейшего напряжения. Он не лез в отличники и мог спокойно засыпать, не приготовив урока, о чем сразу же говорил учителю со своей обычной легкой улыбкой, словно призывавшей собеседника не принимать его слов близко к сердцу. Учителей эта усмешка ничуть не смягчала, скорее наоборот, но ребятам нравилась, как проявление душевной свободы. В ней проглядывала какая-то взрослость, нам еще недоступная...

— А я не помешаю? — улыбаясь, спросил Алик. — Там вроде и так места мало.

— Ничего, потеснимся, — сказал Саша Сидоров.

— Мы же солдаты! — подхватил Ладейников, собиравшийся перейти в спецшколу, где готовили к военной профессии.

— Лиза тоже солдат? — спросил Алик.

— Лиза наша боевая подруга! — радостно сказал Саша.

— Вот уж нет! — пренебрежительно фыркнула сухопарая, вся из острых углов Лиза...

Велосипед Алика стоял возле гардеробной, прислоненный к стене. БСА — бог велосипедов, не бездушный механизм, а одухотворенное, трепетное существо, все нацеленное на движение, с характером прямым, стремительным и чуть нервным, — олененок с дивным изгибом молодых рогов.

Наших ребят привлекали в нем признаки совершенной машинерии: конструкция рамы, мощная передача, рассчитанная на две скорости, форма седла, замечательный карбидный фонарь, никель ободьев, меня же волновал его цельный образ, приближенность к живому существу.

Наши велосипеды не шли ни в какое сравнение с этим красавцем — крепкие, тяжеловатые трудяги, вполне надежные, но без полета. Впрочем, наши машины несказанно выиграли, как только Саша Сидоров выкатил своего недомерка. Это был почти что детский велосипедик, удивляло мужество нашего друга, пускающегося в дальний и трудный путь на такой игрушке.

У каждого из нас к багажнику был прикручен пакет с бутербродами, полотенцем, мылом и зубной щеткой. У Саши багажник отсутствовал, и свои припасы он сложил в рюкзачок, который повесил за спину.

Мы думали, Алик отправляется в путь налегке, но оказалось, что он, как и всегда, экипирован лучше нас. Во внутреннем кармане кожаной курточки у него помещался маленький несесер, содержащий все необходимое для утреннего туалета и множество предметов, для утреннего туалета вовсе не нужных,—какие-то пилочки, щипчики, ноженки. Другой карман был заполнен плоским пакетом с «сэндвичами»—так Алик называл бутерброды.

— Ну, а как у вас насчет горючего? — поинтересовался Саша.

— Да ну его! — отмахнулся Ладейников и непоследовательно добавил: — Там достанем.

— Если вы собираетесь пить, я не поеду,— чопорно сказала Лиза.

— Нашла пьяниц!..

Алик достал из заднего кармана брюк плоскую флягу, отвинтил металлическую пробку и сунул под нос Сидорову.

— Мировой парфюм! — Из уважения к тонкому, незнакомому запаху Саша назвал его заграничным словом.— Что это?

— Джин с апельсиновым соком.

— Джин?.. Надо же!..

— У Диккенса все прачки хлещут джин,— заметил Леня.

— Это можжевелевая водка,— пояснил Алик.

— Слушай, а почему фляжка так выгнута?

— Как раз по заднице,— определил Леня.

— Правильно! — улыбнулся Алик.— Это очень удобно.

— Если вы будете ругаться,— сказала Лиза,— я не поеду.

— Вы не находите, что боевая подруга становится утомительной? — сказал Леня.

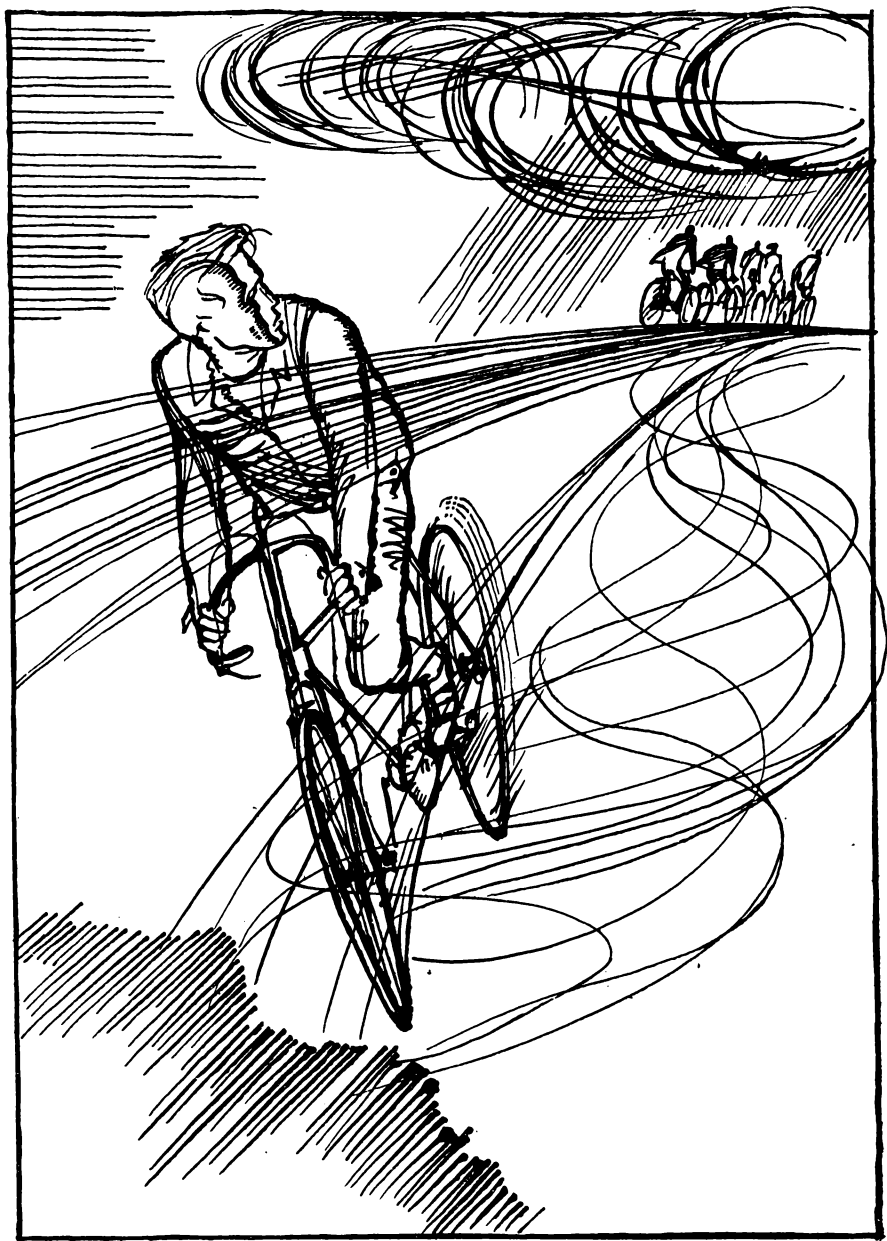
— Ладно тебе! — вмешался Ладейников.— Брось, Лизка, что ты цепляешься? Будто не знаешь нас...

— Я, кажется, никого не трогаю,— поджала бескровные губы Лиза.

Я поглядел на нее, такую бледную и костлявую, смехотворно обещающую достоинство своей женской сути, которую мы в ней никак не ощущали, и впервые от души пожалел Лизу...

И вот мы приняли старт от дверей школы. Наш путь лежал через Покровку и Маросейку на площадь Ногина, оттуда по Солянке к Верхней Болвановке, изящно переименованной в Верхнюю Радищевскую, и мимо церкви Николы в Болвановке, наперерез площади, на Таганскую, а там за мостом вскоре начинается узенькое Рязанское шоссе.

Мы заметили недоброе еще на Яузской набережной. Но трудно было решить, что это — надвигающаяся издалека грозовая туча или дымная хмарь, тяжкие испарения жаркого весеннего дня, скопившиеся над промышленным районом города. В тучу как-то не верилось — слишком рано даже для самых ранних гроз, да и не хотелось верить, но когда мы вырвались из тесноты бывшей Болвановки в малый простор Таганской площади, все небо впереди нас было обложено глухой,



в прочернь, синевой явно не земного происхождения. Громада тучи была молчалива и недвижима, как стена. Каждая туча обладает движением, подвластным ветру, внутри же нее смещаются слои облаков, туча наползает, строится, разрушается, послойно обгоняет самое себя, в ней ворочается, покряхтывает гром, ее озаряют сполохи, а этот мрачный полог был лишен какого-либо движения, жизни. А что если это всего лишь столь частая в апреле пасмурная наволочь, возведенная игрой солнечных лучей в ранг грозовой тучи?..

Хотелось так думать, уж слишком это несправедливо — целую неделю готовиться к поездке, пройти пытки контрольной, выехать с песней в душе и разбиться мордой о небесный заслон. И мы продолжали крутить педали, пригнув головы к рулю, не столько от усердия, сколько для того, чтобы не видеть тучу. Пустая уловка — мы все равно двигались прямо на нее, будто собираясь протаранить иссиня-черную массу лбами наших упрямых склоненных голов.

Внезапно похолодало, и обочь шоссе взметнулась сухая пыль. Мы не знали, радоваться этому оживлению или печалиться, развеет ветер тучу, отгонит прочь или, стронув с места, двинет всей массой навстречу нам.

С каждой минутой ветер задувал все сильнее. Тропинки вдоль деревянных домиков по сторонам шоссе и немощные улицы окраины разом опустели, явив тем самым праздную суть недавней сутолоки. И тут что-то сдвинулось в угрюмой громадине, сердцевина чуть высветилась, а края обозначились тускло-желтым контуром, и глухое бормотание грозной печалью другой Вселенной сдавило душу.

На миг я словно выпал из действительности и чуть не врезался в Сашу Сидорова, лихорадочно накручивающего педали своего детского велосипедика. Бедняга приходилось трудиться с двойной нагрузкой, чтобы выжимать из слабой передачи необходимую скорость. И тут я увидел, что Саша тормозит, упираясь левой ногой в шину. Оказывается, шедшие впереди спешили и держат совет. Я соскочил с велосипеда.

— Неужели вам охота вымокнуть? — улыбаясь, говорил Алик.

— Кому охота!.. — протянул Ладейников. — Да ведь... как же так?..

— Очень просто! Если поднажать, вернемся до грозы. Пойдем ко мне. Будем слушать пластинки, щелкать орехи и потягивать джин с соком. Как ты, Лиза?..

— Как все, — коротко ответила та.

— Сашка?..

— Я что?.. Я не против, если другие...

— Другие против, — сухо прервал Леня Бармин.

— Леня романтик, — улыбнулся Алик. — Но вы-то разумные люди! А Сашке и вообще не доехать.

— Это почему же? — вскинулся Саша.

— Самокат не выдержит.

— А ты отдай ему БСА,— предложил Леня.

— Ну нет! — засмеялся Алик.— Есть правило: велосипед, бритву и жену товарищам не одалживают... Ну, счастливо, друзья! Будьте осторожны. Берегите Лизу.— Не коснувшись педали, он вскочил на велосипед и, приподнявшись над седлом, взгорбив спину, помчался назад.

Мы долго глядели ему вслед, втайне завидуя его решительности, умению вверяться охраняющему инстинкту. Он снова доказал свою взрослость. Никого из нас не соблазняла перспектива холодной бани. Что же заставляло нас ехать дальше?..

— Баба! — презрительно уронил Леня.

— Нет,— заступился Ладейников,— он просто за машину боится.

— Брось, что ей сделается?..

— Поехали,— сказал Саша,— уже темнеет.

И мы поехали, прямо в тучу, в порождаемый ею мрак, в наливающиеся громовые раскаты, в сполохи, пронзающие бледным сиянием ее толщу.

Чуть замешкавшись, я увидел своих товарищей словно со стороны, и с фотографической четкостью они легли в мою память. Первым шел Ладейников в защитного цвета рубашке с закатанными рукавами и коротких штанах, застегивающихся на пуговицы под коленями. Методично и сильно напрягались голые крепкие икры. У него был низкий руль, круто выгнутый на манер гоночного, что определяло его посадку с наклоном-навесом вперед, дабы освободить заднее колесо. Иероглиф его фигуры читался так: целеустремленность и простота.

Чуть отставая, бок о бок, шли Леня и Лиза. В посадке Лени, нарочито молодцеватой, с форсом, чувствовалась скованность. Леня не был заядлым велосипедистом, но очень хотел казаться таким. Его выдавали руки, судорожно сжимавшие руль возле стойки.

В отличие от него Лиза являла совершенную свободу позы. Она сидела очень прямо на низко опущенном седле, но в этой прямизне не было напряженности, ее тонкие пальцы едва касались роговых рукояток руля. Худые ноги работали с ритмичностью машинных рычагов. Наверное, у нее крепкие кости, потому что мускулов под бледной, в голубых прожилках кожей вовсе незаметно. И у нее железное, спокойное сердце, не ведающее усталости. Но если б она и устала, никто бы этого не заметил. Ее внутренний устав — не обременять собой окружающих. Все свое она носит в себе. И при этом Лиза чутка к обиде, значит, самолюбива. На Лизе серый джемпер, серая шевиотовая юбка и серые спортивные туфли. И в этом сказывается ее стремление не привлекать внимания, оставаться в тени.

За ними, яростно крутя педали, поспешал бедный Саша. Он смешно скрючился на низком седле — поза эта порождена необходимостью, иначе его колени будут тыкаться в руль. В рюкзаке за спиной что-то встряхивается, позвякивает, клетчатая кепчонка сползает на нос. Он расстегнул толстовку, полы развеваются по ветру. Врозь тор-

чат носки разношенных штиблет. Саша напоминает популярного клоуна Мишеля, выезжавшего на арену на крошечном велосипеде, который он потом прятал в карман необъятных штанов.

Сполохи погасли, стих ветер. И лишь верхушки берез тихо раскачивались какой-то своей силой. Тягостная, недобрая тишина простерлась над землей. И слышно, как шуршат шины наших велосипедистов. Редко навстречу нам или в обгон проносились грузовики. В домишках зажегся неурочный свет. Сумрак стремительно сгущался вокруг нас, но если оглянуться назад, то над покинутой Москвой горит солнечный праздник. Этот праздник не про нашу честь. Он светит Алику, во все лопатки удирающему к дому.

Тонкая молния расщепила тучу, и чудовищный гром сотряс мироздание. Где-то завyla собака, заблелли овцы и с отчаянной печалью взревела корова. Туча утратила плотность, обмякла, посерела, закрубилась. Шоссе впереди обрезалось дождевым завесом. Первые крупные капли окропили асфальт у самых колес, и он будто зацвел, запах, и на всей скорости мы съехались с ливнем.

Поблизости не было ни укрытия, ни деревьев, да и какой толк укрываться, когда мы враз промокли до нитки! И прав был Ладейников, что, не оглядываясь, продолжал мчаться вперед, увлекая нас за собой. Надо было ломить вперед, чтобы скорее пронизать толщу ливня. Мы ехали почти вслепую, не видать ничего, кроме исхлестанных ливнем рук на руле и чеки для карбидного фонаря. Белесый сумрак озарялся вспышками молний, слепивших, а не помогавших что-либо увидеть. Впрочем, порой я различал перед собой темное, зыбкое тело, представлявшееся мне то собакой, то ворохом грязного тряпья, то какой-то реющей нежитью и бывшее на самом деле моим другом Сашей Сидоровым.

Нам выпала глубоко эшелонированная гроза. Стоило вырваться из одного ливня, как сразу, предшествуемый ударом грома, обрушивался другой, столь же сокрушительный. Это было так основательно и бескомпромиссно оформлено, что лишало всякой надежды на спасение, даже на передышку. Мы не пытались ни словчить, ни защититься, ни выйти из игры. Ливень лишил нас окружающего мира, словно заключил в душный целлофановый мешок. Исчезло даже неоконтурное пятно Сашиного тела, словно растворилось в дожде. Мне стало не по себе, я с силой нажал на педали, дождь еще злее заколотил по голове, плечам, спине. Внезапно впереди выросла темная гряда, я резко затормозил, машину кинуло в сторону, кто-то схватил меня поперек туловища, не дав упасть.

— Осторожнее, черт! — слышался голос Лени Бармина, влажный, как и все вокруг.

На асфальте сидел Ладейников, весь в желтой грязи, с рассеченной губой и разбитым носом.

— На глину заехал, — пояснил Ленья.

— Откуда тут глина?

— А дьявол ее знает! Грузовики шинами натаскали.
— Ладья, как ты?..
— Как видишь,— проворчал Ладейников, высмаркивая кровь.
— А ехать-то сможешь?
— Сейчас узнаем.— Ладейников еще раз мощно высморкался, обмыл дождем губы, встал и рывком поднял велосипед.
— Восьмерки нет? — спросила Лиза.
Он крутанул переднее колесо, потом заднее.
— Нормально! — и погладил велосипед по седлу. — Выносливая скотина.

— Это ты выносливая скотина! — душевно сказал Саша. — Ничего не повредил?

— Пошел ты, знаешь куда!..

— Ну, ну!.. — предостерегающе сказала Лиза. — А то я не поеду...

— Ты не заметила, девочка, что уже едешь? — спросил Леня.

— Я и повернуть могу...

— Не выйдет! Мы отвечаем за тебя перед Аликом.

— Как остроумно!..

Мимо пронесся ошалелый грузовик, обдав нас потоком рыжей воды из колдобины.

— Это еще остроумней,— заметил Ладейников. — Воды нам как раз не хватало. — И он вскочил на велосипед...

Гроза перестала нас трепать где-то за Малаховкой. Ливень с громом и молниями отвалился к Москве, а нам остался спокойный, крупный, холодный дождь. Потом дождь утончился, стал нитяным, едва ощутимым, словно влажная паутинка касалась лица. Возникла окрестность — дачи, заборы, сосны, кусты акаций, скворечни. Вернулась лента шоссе, и я увидел уже не призрачного, а вполне материального Сашу Сидорова и понял, как нужны велосипеду крылья. Бьющая из-под заднего колеса струйка грязи, не встречая препятствия, накрывала Сашину спину. Он был забрызган от брюк до клетчатой кепочки, ошмотья глины облепили уныло обвисший рюкзак. Прежде ливень смывал с него грязь, а теперешний тощий дождишко лишь разводил ее жиже.

Шум и сумбур грозы, затихший в просторе, угомонился и во мне самом. Я стал вновь отчетливо и ясно воспринимать окружающее. У меня не было часов, но я знал, что еще не поздно и длится долгий предмайский день. Это серое, обложное небо нанесло ранний сумрак, в котором сплывались лишённые четких контуров дома, деревья, заборы, кусты, саран. Стоило мне чуть отпустить моих друзей, и они становились сгустками тьмы в серой прорези сузившегося за Малаховкой шоссе. Лишь небо над зубчаткой леса сохраняло тусклую белесть, надевая отчетливым существованием то, что попадало на его фон: геодезическую вышку, телеграфные столбы, верхушку одинокой сосны.

Асфальт сменился булыжником, меж лобастыми камнями зияли трещины, выщерблены, а порой и опасные колдобины, полные жидкой грязью. Ведущий снизил скорость, и мне полегчало. Я держался последним вовсе не из благородных побуждений страховать Сашу на его недомерке, а потому что такие расстояния вообще не для меня. У меня короткое дыхание. Я способен на рывок, на вспышку, а не на длительное усилие. Обогнать трамвай или легковую машину на Чистых прудах было как раз по мне. Ребята считали меня классным велосипедистом, но я-то знал скудость своих возможностей. Когда мы пукались в путь, у меня вовсе не было уверенности, что выдержу марафонскую дистанцию. Но мы проехали две трети пути, к тому же самого мучительного, и теперь я не сомневался, что доберусь до фишиша, тем более на ограниченных дорогой скоростях.

Стемнело...

В ту пору я еще не знал, что страдаю куриной слепотой. Мне казалось, все люди так же плохо ориентируются в темноте, как и я, путают правую сторону с левой, близкое с далеким, а в глазах у них рябится точечная красноватая мгла. Я считал — Ладейников придерживается верного направления лишь потому, что знает дорогу, а не потому, что видит ее. А остальные, подобно мне, ориентируются скорее на слух и лишь изредка — по взлеску какой-либо металлической детали на машине впереди идущего. Меня убеждало в равенстве с товарищами и то, что я падал не чаще их, и уж, во всяком случае, реже нашего лидера. Тогда ничего не ведали о локаторах, помогающих летучим мышам и прочим ночным тварям передвигаться в крошечной тьме. Наверное, у меня тоже были какие-то локаторы, дававшие возможность вслепую держаться дороги.

Окружающее обрело частичную видимость и соорганизовалось в подобие реальной ночи, когда впереди замелькали стационарные огни: красные и зеленые семафоров, желтые — платформ и пристанционных строений.

Роящаяся вокруг меня красноватая, воспаленная мгла замерла, погас багрец, она стала устойчивой тьмой земли и тьмой хмурого, но уже переставшего сочиться неба, и порой между двумя тьмами я различал чернь сосновых крон.

А вот и железнодорожное полотно — мокрое, глянцевитое, будто налакированное, густо пахнущее варом, шлаком и железным теплом рельс. Шлагбаум был поднят, мы с ходу, чуть спотыкаясь на рельсах, торчащих меж досками настила, переехали на другую сторону и двинулись параллельно железной дороге, почти впритык к штaketнику вытянувшихся вдоль полотна дач. Велосипед сильно подкидывало на узловатых корнях сосен, порой из-под колеса упруго выстреливала шишка, влажная сосновая ветвь с размаху ударяла по глазам, за ноги цеплялись колючие ветки можжевельника и какие-то мертвые, сухие стебли. Но ехать здесь приятно — штaketник торопливо бежал вспять, создавая иллюзию высокой скорости.

Я не сразу осознал, что отчетливо вижу и планки штакетника, и фольговый блеск луж, и ветви в серебряном поту, и даже узловатые гладкие корни поперек тропы. На небе зажглись звезды, и молодой месяц, чуть приныривая, бежал сквозь дымку облаков.

Я возликовал. Все дурное осталось позади. Плевать на мокрую одежду, противно облепившую тело, на усталость в одеревеневших икрах, на отдышку — путешествие стало прекрасным и гордым, каким оно и рисовалось в мечтах...

Кратово давно спало, когда мы въехали на его темные, печальные улицы с заколоченными дачами в окружении черных, голых чуть не до маковок, словно обгорелых, сосен.

Неожиданно и нелепо вырос квартал высоких городских домов, за которыми недобро проблескивала большая вода. Мы свернули туда и вскоре спешились у неосвещенного, молчаливого подъезда.

Наморозившееся за зиму жилье не отличалось уютом, но мы были рады и такому. В жилой комнате стояли две коечки, да из чулана, предназначенного Лизе, Борис притащил раскладушку и грудку всякого тряпья на укрытие. Мы думали согреться чайком, благо на кухне имелся примус, но не обнаружили ни чайника, ни керосина, ни даже спичек. Дом казался необитаемым, к тому же слишком поздно было ломиться к незнакомым людям. Решили обойтись без чая. Кто-то вспомнил о джине с апельсиновым соком. Какие же мы дураки, что не отобрали у Алика фляжку!

— Так бы он ее и отдал! — скептически заметил Ленья. — Велосипед, бритву, жену и фляжку с джином приятелям не одалживают... А правда, что человек раскрывается в дороге...

— Нечего хвалиться! — одернул его Ладейников. — Уж если кто и герой, так это Сашка.

— Да ладно! — Толстые Сашины губы растянулись в доброй, смущенной улыбке. — Я плохо шел. И не в драндулете дело. Врачи говорят, у меня капельное сердце.

— Это что такое?

— Ну, слишком маленькое для моего организма.

— Это у тебя-то маленькое сердце? — Серые глаза Ладейникова потемнели от нежности. — Да у тебя громадное сердце! У тебя сердце богатыря!

— Хватит смеяться... — проворчал Саша.

— Лиза, ты не хочешь взглянуть на свою келью? — сказал Ленья Бармин.

— Я вам мешаю? — Лизин голос омертвел от обиды.

— Мне лично нисколько. Я могу раздеться и при тебе.

Лиза выскочила из комнаты. Мы скинули мокрую одежду и, отжав, развесили на спинках стульев и коек. Вымывшись в кухне над раковиной и растеревшись докрасна, завернулись в одеяла. Нам с Ле-

ней достались серые шерстяные одеяльца армейского образца, а Саше — какая-то ватная рванина, превратившая его не то в цыгана, не то в горного пастуха. Борис остался в трусах. Он закалял свое тело и даже в крещенские морозы ходил в школу в одной суконной рубашке. Завидно хорошо сложен был Борис: развернутые плечи, втянутый живот, длинные, мускулистые ноги.

Когда с переодеванием было покончено, мы принялись собирать на стол. И тут настала Сашина минута.

— Конечно, всем на все наплевать, один Сидоров заботится о товарищах! — и жестом фокусника извлек из рюкзака четвертинку «Зверобоя».

Наши радостные вопли привлекли Лизу.

— Водка! — сказала она трагическим голосом. — Я немедленно возвращаюсь в Москву.

Надо было видеть Лизу, обернутую в старую занавеску, с тюрбаном на голове и цветастой тряпкой вокруг плеч, чтобы понять всю нелепость этого заявления.

— Ты с ума сошла? Что значит четвертинка для таких орлов, как мы?!

— Это же просто для угреву!..

Что случилось с Лизой? Она на себя не похожа. Все время одергивает нас, словно боится, что мы перейдем какую-то грань. Неужели Лиза не понимает, что она для нас — свой парень и ничего другого?..

Мы выпили, повторили, и хмель затуманил наши непривычные к спиртному головы.

— Ах, как хорошо! — умиленно сказал Саша. — Вот для этого мы и ехали.

— Уже рассиропился? — усмехнулся Леня. — Немного же тебе надо!

— Да, я сентиментальный человек! Может, это и смешно, ну так смейтесь на здоровье, я не обижусь... Ты, Леня, мечтаешь покорить мир, а я, знаете, о чем мечтаю?

— О чем?

— Я мечтаю... как мы с сыном после бани первую кружку пива выпьем. Понимаете, будем мы сидеть в простынках, на плюшевом диване, в Сандунах, распаренные, красные, пахнущие веником, и банщик принесет нам пару жигулевского. И я скажу: «Поехали, сынок». А он скажет: «Будь здоров, батя!»

— Надо ж! — удивился Ладейников. — Как расписал! Ты в писатели метишь, Сашка?

— Нет... Понимаешь, я ведь без отца рос. И мне интересно, как это у отца с сыном бывает. И люблю я детей. Всех. И своих, и чужих...

— Да какие у тебя дети, чудило?

— Это я так, о будущем... Я, наверное, учителем стану или воспитателем... Но не о том речь. Тут профессия, а вот какую ты себе в жизни награду ждешь?.. Леняке прижизненный памятник подавай.

Ладье, конечно, чтоб вся грудь в орденах, а мне — выпить с сыночком пива после бани... Глупости я говорю?.. Опьянел. Эх, жаль гитарки нет...

— Постой,— сказал Леня.— С чего ты взял, что я мечтаю о памятнике да еще прижизненном? Знаете, кем я хочу быть? Конферансье! — И обвел нас сердито-недоуменным взглядом.

— Ты это серьезно? — нарушил тяжелую паузу Ладейников.— Разве есть такая специальность?

— А как же! Конферансье — артист. Он артист по смеху. Мне иногда снится, будто я острою, и так здорово, что все кругом — в лежку! И я такое счастье чувствую, даже передать невозможно!

Мне показалось, что Леня уже жалел о своей откровенности, но, как человек сильный и гордый, решил не отступить.

— А я тебя понимаю,— вдруг сказала Лиза.— Это правда здорово, когда все смеются. Ведь людям чаще всего грустно.

Поддержка Лизы ничего не изменила. Ощущение неловкости и досады осталось. Трудно было представить себе нашего умного, начитанного, технически одаренного Леню в черном фраке, с белой пластроновой грудью, откальывающего с эстрады дежурные шуточки.

— А ты, Лиза, кем будешь? — спросил Саша, уводя разговор от огорчительной темы.

— Ей-богу, не знаю. У меня нет никаких способностей.

— Почему, ты чертишь здорово! — возразил Ладейников.

— Похуже тебя...

Кем станет Ладейников, не вызывало сомнений: он был из военной семьи и его переход в спецучилище подтверждал верность семейной традиции.

— Слушай, Ладья,— сказал Леня.— Какое ты имеешь отношение к политкаторжанам? Ведь твои предки не столько сокрушали царизм, сколько сражались за веру, царя и отечество?

— Мой отец был начдивом гражданской войны,— сухо ответил Борис.

— Ну, а твой дедушка?

— Он герой Плевны,— в том же тоне сказал Ладейников.— По отцу у меня все военные, а по матери — узники царских тюрем. Тебе все ясно?

С чуткостью доброй души Саша поспешил переменить разговор: — А ты, Юрка, кем себя видишь?

Я не знал, что сказать. Совсем недавно, месяца два назад, в моей жизни произошло одно неожиданное событие: я написал рассказ. По чести, я толком не знал, можно ли это сочинение назвать рассказом. Я просто описал лыжную прогулку в подмосковную Лосинку, куда мы ездили всем классом. Я и сам не знаю, почему мне вдруг вспало описать эту прогулку. Там не случилось ничего примечательного: ни драки, ни какой-нибудь любовной истории. И я никогда прежде не помышлял о писании. А тут вдруг взял и ни с того ни с сего написал

рассказ. И с глубочайшим изумлением обнаружил, что от самой необходимости перенести на бумагу несложные впечатления дня, черты хороших знакомых людей странно расширились и углубились все связанные с этим обычным зимним днем переживания и наблюдения. Кажется, я по-настоящему осознал тогда, что люблю природу, мучительно, до слез, люблю деревья, снег, небо, замерзшую речку, черные прутья кустов. И еще много других открытий и в окружающем, и в себе самом сделал я, когда стал писать первый в моей жизни рассказ. Я чувствовал, что со мной случилось что-то важное, но говорить об этом не мог. Признаться, что ты хочешь стать писателем, еще стыднее, чем признаться в желании стать конферансье. И я ушел от ответа:

— Я — как Лиза.

— Видал, какие хитрые рожи! — обратился Леня к Саше. — Мы с тобой вывернули всю требуху наружу, а эти гады скрытничают. Ну и черт с вами! Мы про вас и так все знаем. Лиза будет знаменитой шпионкой, вроде Мата Хари, а Юрка — водолазом-надомником. Давайте спать.

Предложение было дружно принято. Пожелав нам спокойной ночи, Лиза удалилась в свою девичью келью. Леня с Сашей затеяли бороться нагишом. Леня восторженно кричал, что мы присутствуем при возрождении эллинского культа. Я помог Ладейникову убраться со стола и завалился на койку. Леня и Саша еще долго плескались на кухне, смывая борцовский пот, затем сквозь дрему я ощутил увесистый толчок в спину и машинально отвалился к стене. «Разлегся, как Евгений Онегин...» — то ли слышался мне, то ли приснился Сашин голос.

Среди ночи я проснулся, как встрепанный, перелез через мерно похрапывающего Сашу, наткнулся на стул, ударился о косяк и окунулся в холод прихожей. Боясь разбудить ребят, я не зажег света в комнате и шарил руками по стене, пытаюсь нащупать выключатель. Внезапно я услышал глухой, странный голос Ладейникова:

— Не умирай!.. Прошу тебя, не умирай!..

И в ответ тихий, как шелест листьев, незнакомый, хотя и сразу узнаваемый, голос Лизы:

— А что же мне делать? Что же мне делать, скажи!..

— Ждать, — прозвучало коротко, как удар.

— Я не верю... Не тебе, нет, жизни не верю, времени. Сколько ты будешь в этой специальной школе, год, два?.. А потом тебя куда-то ушлют...

— Почему непременно ушлют?

— Военных всегда куда-то отсылают... И я не смогу поехать за тобой. Мать беспомощна, как ребенок... Ты и сам знаешь.

— Я кончу училище, получу звание и заберу тебя к себе. Вместе с матерью. Или сам вернусь в Москву.

По правилам приличия мне полагалось или убраться восвояси, или легким покашливанием предупредить о присутствии постороннего.

Но я был настолько потрясен, что никакие этические соображения не шли мне в голову. Я прирос к месту в тяжком обалдении почти столбняка. Лиза Кретова любит Ладейникова, а он любит ее. Требовалась срочная переоценка ценностей. Лиза защищала свою вовсе не мнимую, а истинную женственность от посягательств нашей слепой, незрелой развязности. Она уже знала свою суть, высокую и горестную суть женщины. Какие же мы все слепые идиоты!

— Неужели ты ничего другого не хочешь в жизни? — говорила Лиза. — Военные такие ограниченные!..

— И я ограниченный. Разве ты не замечала?

— Нет. Ты упрямый, но не ограниченный. И ведь если будет война, все и так пойдут — и военные, и штатские. Тебе что — форма нужна и пистолет на боку?

— Честно? Да, и форма, и пистолет, и запах казармы... Я все детство прожил в казармах.

— Жаль, что ты не в материнскую родню пошел!

— Не стоит жалеть, они же все сидели... Хватит об этом, ты сама знаешь, что мне нельзя иначе.

— Просто ты меня не любишь! — И Лиза заплакала.

Тут я наконец очухался и, моля бога, чтоб не скрипнули половицы, вернулся в комнату, перелез через Сидорова и затих возле холодной стены. И странно, я совсем забыл о причине, побудившей меня выйти в коридор.

На другое утро я тщетно приглядывался к Лизе и Борису — ничто в их поведении не напоминало о ночном объяснении. Они были так же просты, естественны друг с другом, как и всегда. Но потом мне стало казаться, что их незамысловатое общение исполнено тайного смысла. Она протянула ему вилку, он разделил на двоих бутерброд с сыром — можно многое сказать самыми простыми жестами...

Было ясно, что делать нам в Кратове нечего. Одежда не просохла, тело ломило после неудобного, тесного сна, хотелось чаю и свежего хлеба, хотелось под горячий душ, короче, хотелось домой. Но все же мы решили уплатить дань озеру. А потом сразу рвануть в Москву.

День выдался теплый, на солнце даже жаркий и вместе с тем какой-то знобкий. То пахнет ветром, то от земли потянет стужью истаявшего снега, но скорее всего, холод засел в нас самих. И, когда пришли к большому, пустынному, цвета вороненой стали озеру, желающих купаться оказалось всего двое: Ладейников и Леня. Ладейников вообще не знал, что такое холод, а Леней двигало мужское самолюбие: как это Борис может, а он нет! Ладейников, раздевшийся еще по пути, нырнул с берегового бугра и пошел отмахивать саженками. Леня долго томился на берегу, не решаясь войти в ледяную воду. Наконец он все же окунулся с диким воплем и пулей выскочил на берег. Мы скопом принялись его растирать.

Вышел из воды Ладейников и прямо на мокрое тело натянул одежду.

Мы двинулись в обратный путь. Сперва по влажной прошлогодней траве, затем по крупичатому песку дорожек в плоских рыжих лужах. Нас задевали влажные лапы сосен из-за оград, и вскоре мы вымокли по-вчерашнему. За Малаховкой, когда перед нами легло прямое шоссе на Москву, Ладейников сложил с себя полномочия командора.

— Доберетесь? Тогда я нажму. У меня дела в Москве. До скорого! — и устремился вперед.

— Если не обидетесь,— сказала Лиза,— я тоже... Как ты, Саша? Хочешь, поменяемся велосипедами?

— Да ты длиннее меня. Куда ноги денешь?

— Найду.

— Не болтай! — рассердился Саша.— Жми!

И Лиза «нажала». Мы видели, как она догнала Ладейникова и пошла рядом с ним, колесо в колесо, по осевой шоссе.

— Хороши! — восхитился Леня.— А я, неисправимый гуманист, связался с инвалидами!..

— Жми!

— Я пошутил.

— Жми! Мне лучше, если никто не висит над душой,— сказал Саша.

Я смотрел вслед Лизе и Борису. Они не истаивали вдаль, а будто вырастали над далью, одни посреди пустынного воскресного шоссе. Мне представилось, что они мчатся к чему-то хорошему, светлому, в долгую, радостную жизнь. Я ошибался. Борису Ладейникову оставалось жить менее четырех лет. Он погибнет в самом начале войны. И не так, как приличествовало бы погибнуть потомственному воину, ведя бойцов в атаку или командуя батареей в изнеможении долгой обороны, а штрафным бойцом, осужденным военным трибуналом. Он был накануне получения первого командирского звания, когда во время его дежурства по летнему лагерю со склада украли несколько мешков картошки. Суров закон военного времени. Тюремный срок, конечно, заменили передовой. Он не вернулся из первого же боя. Когда после войны мы пришли к старикам Ладейниковым сказать, что помним и любим их сына, отец Бориса, маленький, сухопарый, с седым ежиком, спросил, заглядывая нам в глаза:

— А вам известно, что Борис кровью искупил свою вину?

— Да какая там вина... — поморщился Леня.

— Он получил заслуженное наказание,— жестко сказал старик Ладейников.— Но теперь на его воинской чести нет пятна.

Вот такая закваска была у нашего погибшего друга...

...Леня умчался вперед, и мы остались вдвоем с Сашей.

— Ты бы тоже мотал,— посоветовал Саша.— Я не обижусь.

— А я вовсе не из-за тебя. Не могу быстро ехать. Дыхания не хватает.

— Правда, что ль? А по Чистым носишься — будь здоров!

— Я спринтер.

— Ладно. Как-нибудь дотрюхаем...

И мы дотрюхали — не спеша — в сегодняшний день. Мой старый школьный друг называет себя обывателем. Если это слово выражает человека, работающего в будни, гуляющего в праздники, любящего жену и воспитывающего сына, откладывающего деньги на покупку пары ботинок, шумно болеющего на стадионе, не чурящегося рюмки водки и кружки пива, пребывающего в мире с окружающими и самим собой и никому не испортившего жизни, то Саша самый настоящий обыватель. Правда, этот обыватель провел четыре года на фронте, болел пеллагрой и цынгой, был тяжело ранен в самом конце войны и потому с опозданием начал столь милую ему жизнь обывателя.

Саша очень хороший редактор крупного московского издательства, редактор, чувствующий и щадящий писательское слово. Недавно он получил трехкомнатную квартиру неподалеку от печальных останков Царицынского дворца. Отдаленность от центра не мешает Саше каждую субботу ездить с сыном в Сандуны, париться и освежаться жигулевским пивом, толкуя о футболе, новых книгах, шахматах, космосе и повышении цен на спиртное...

Ну, а что же случилось с тем смуглым мальчиком, который оставил нас в самом начале Рязанского шоссе и унесся на своем замечательном велосипеде прочь от грозы, ливня, падений на асфальт, ночевки в промозглом необиталище, откровенностей, которых потом стыдно? Он умчался навсегда не только от нашей компании, но и от нашей школы и дома политкаторжан, от доброго покровительства Ладейникова, от Чистых прудов. Родители его получили квартиру в далеком районе Москвы, и, вечный странник, он перешел в другую школу, без сожаления расставшись с той жизнью, которую не успел полюбить.

Жестоким январем сорок второго года его свежий, мягкий голос окликнул меня возле поезда-типографии фронтовой газеты, стоявшего в тупике на станции Малая Вишера.

В ту пору я служил в отделе контрпропаганды фронта и временно замещал ответственного секретаря газеты для войск противника. У нас не было своей базы, мы печатались в типографии русской газеты. Начальник типографии, вольнонаемный не только по официальному положению, но и по духу, бесился от злости, что ему навязали дополнительную нагрузку. Путь к ротационной машине лежал через грандиозный хакеж, злобную ругань, чуть ли не драку.

Заряженный этим человеком, я отметил встречу с Аликом гневным выпадом против вольнонаемных — будь моя воля, я бы их всех в один мешок и...

— Но я тоже вольнонаемный! — рассмеялся он своим легким, нечаянным смехом.

Он был в командирской двубортной шинели, меховой ушанке и заказных бурках. Отсутствие знаков различия в петлицах ни о чем не говорило. В то время многие средние командиры нарочно не носили кубиков, чтобы их принимали за капитанов. Сам я был лейтенантом, но моя солдатская шинель на крючочках, валенки «б.у.» и шапка с поддельной цигейкой не шли ни в какое сравнение с экипировкой Алика.

— Извини, я не знал... — пробормотал я.

— Да брось ты! — засмеялся Алик.— Меня обещали аттестовать в ПУРе.

Он находился тут по доброй воле. Ушел с третьего курса литературного факультета МГУ и получил назначение во фронтową газету на должность литсотрудника. Но вольнонаемным нет хода. Его не пускают в части, он сиднем сидит в купе и правит чужие корреспонденции, у него вклад машинистки, он не получает ни командирского допайка, ни винной порции, зато бомбят его тут на рельсах, словно он не вольнонаемный, а самый настоящий кадровик. Он рассказывал о своих горестях весело, насмешливо, хотя чувствовалось, что он не на шутку уязвлен своим положением. Дело, разумеется, не в окладе, не в допайке и винной порции, а в постоянном ощущении неравенства с другими работниками. Главное же — ему хотелось ездить на передовую, писать о бойцах, стать настоящим фронтovým журналистом.

Мы еще поговорили с Аликом, и стало ясно, что у нас нет общего прошлого. Алик, правда, помнил имена школьных ребят и учителей, у него была цепкая механическая память. Я рассказал ему о судьбе Ладейникова.

— Сколько прекрасных ребят погибло!.. — сказал он со вздохом.

Он и Ладейникова помнил только по имени...

Я надолго потерял Алика из виду. Вскоре после нашей встречи меня задело осколком мины по каске, когда я вел рупорную передачу из ничьей земли. Не было ни крови, ни боли, но я, как говорил Эдиссон, стал слышать меньше глупостей. Я их стал так мало слышать, что меня направили в Москву, на консультацию к ушникам.

Поезд сильно опаздывал, под Бологим немцы разбомбили пути. Вагонную тоску мне помог скоротать пехотный старшина, парень моих лет, но по жизненному опыту годившийся мне в отцы. Он был из московского пригорода Чухлинка и почему-то необыкновенно гордился этим обстоятельством.

В Москву мы прибыли в близости комендантского часа. Я предложил старшине переночевать у меня, до дому ему все равно не добратъся. Он деликатно отказался.

— Там ваши родители, а может, и подруга жизни. Зачем же мешать встрече?

— Неужели так охота ночевать в комендатуре?

Он озорно сверкнул глазами.

— Для парня с Чухлинки найдется что-нибудь повеселее комендатуры!

Что он имел в виду, стало ясно, когда поезд наконец-то причалил к темной, в синем маскировочном свете платформе Ленинградского вокзала. К этому так безбожно запоздавшему поезду вышло много встречающих — сплошь женщины. В валенках и шерстяных платках, повязанных крест-накрест через грудь, с бледными, накрашенными лицами. Иные из них знали, кого встречают, и с рыданием повисали на своих близких, но большинство с деловитостью носильщиков шныряли среди приезжих, ждущие заглядывали в незнакомые небритые лица, ловя ответный знак. У этих женщин не было ничего, кроме жилого угла, где военный человек мог переночевать, или задержаться на день-другой, или провести отпуск, — как приглянется.

Я видел, как молодая, кургузенькая, на крепких ножках женщина подхватила моего старшину и они, перебрасываясь шутками, будто век знакомы, ладно, в ногу, зашагали к выходу. Старшина обернулся и крикнул мне что-то прощально-веселое, кургузенькая тоже оглянулась, смеясь, и помахала рукой. Я не ответил. В одной из женщин на перроне я вдруг узнал Лизу. Нашу Лизу. На ней был платок, повязанный крест-накрест, и валенки, не прикрывавшие костлявых колезок. Ее худое, еще более заострившееся лицо было словно углем перечеркнуто между носом и подбородком — так выглядела помада в сине-мертвенном свете. Она тоже присматривалась к военной братии и убыстряла шаг, заметив ответное внимание, и отставала, не дождавшись подтверждения. И по мне скользнул ее ищущее-рассеянный взгляд. Она не узнала меня. Я поспешно шагнул за колонну. Мне нужно было наново собрать душу, чтобы принять эту Лизу.

...— Ну, здравствуй, Лиза!

Она сразу заплакала, тихо и горестно, словно этот плач давно стоял в ней у самого горла, у самых глаз и ждал лишь малого знака, чтобы пролиться. Я поцеловал ее в холодную щеку и в запястье между обтрепанным рукавом и самовязной варежкой. Мы поехали к ней на синем трамвае не то на Тихвинскую, не то на Опалиху — я плохо знаю этот район, и я гладил и целовал ее руки, пока она не перестала плакать. А потом мы пили чай с фронтовыми припасами, курили табак «Кафли» и примиряли настоящее с прошлым, а за дверью маленькой темной комнаты трудно дышала ее парализованная мать и смешно всхлебывало во сне другое существо — побег сероглазого юноши-героя, не осуществившего себя в подвиге. И так мы сидели, не смыкая глаз, до самого утра, когда за черно-зашторенными окнами зазвенели трамваи и мне нужно было возвращаться в свою жизнь...

...— Почему ты не подошел ко мне? — были первые слова Лизы, когда через десять лет после войны мы встретились в нашей старой школе на вечере уцелевших ветеранов.— Почему ты не подошел ко мне на вокзале?

— Не знаю.

— А я бы подошла к тебе, будь ты в любом унижении, любой беде, любой грязью!..

То была правда, и чего бы я только не отдал, чтоб перебелить эту страницу жизни. Но ведь так не бывает...

Лиза вернула себе свой школьный облик: худенькая, прозрачная, очень юная. Но ее нелепая девичья худоба стала прочной худобой, тонкой силой зрелой женщины.

— Что было потом... после того дня? — спросил я.

— Всё то же... А летом умерла мама. Я поместила Борьку в детдом и ушла на фронт. Сандружинницей. Там вышла замуж.

— Борька знает о своем настоящем отце?

Лиза долго молчала.

— Нет... Так проще. Муж принял его как родного. Зачем было беречь маленькую душу?

— Вы с мужем познакомились на фронте?

Тихие глаза Лизы блеснули каким-то странным торжеством.

— Нет! Он меня там нашел, а познакомились мы раньше, на вокзале...

...Я не задержался в Москве. Врачи пришли к выводу, что слух вернется ко мне, я лишь не буду слышать левым ухом «высокочастотных звуков», тонкого свиста например. А на кой он мне сдался? В крайнем случае буду слушать тонкий свист правым ухом. И я вернулся на фронт. В отделе меня встретили так, будто я отлучался в АХО за гороховым концентратом, и сразу отправили в часть. Кому-то пришлось в голову, что материал для листовок и газет надо брать у «свежих» фрицев, только что взятых в плен, с пылу, с жару. А к нам попадали фрицы, уже прошедшие обработку не только по линии контрпропаганды, но и разведотдела. Вот я и отправился за свежими фрицами. Предполагалось, что такие появятся после боя за стратегическую высоту на участке одного из полков.

Я добрался до НП полка, когда уже кончилась артиллерийская подготовка и через заснеженное поле к роще, за которой находились немецкие позиции, двинулись танки с автоматчиками на броне. Фронт стоял в долгой обороне, и этот невидный бой местного значения привлек на НП заскучавших в безделье корреспондентов, в том числе и московских. Последнее обстоятельство крайне волновало капитана, заменившего в этом бою раненого накануне комполка. Он «работал» полководца: много кричал, матерился, то и дело прилипал к биноклю, хотя смотреть было не на что. Когда танки скрылись в роще и донеслось слабое, высокое, как девичий хор, «ура», из командирской землянки вышел молодой человек в распахнутом романовском полушубке и сбитой на затылок ушанке, спереди на ремне, затрудняя ему шаг, тяжело висел маузер в деревянной кобуре. Это был Алик. Уви-

дев меня, он вспыхнул улыбкой и глазами, прижался теплой от печурки щекой к моей намерзшей щеке и с комической печалью сообщил, что прибыл сюда все еще на положении вольнонаемного.

— Лиха беда начало!

— Я тоже так думаю,— сказал он рассеянно.— Правда, есть еще поговорка: первый блин комом.

— О чем ты?

— Я послан на позитивный, как выражаются газетчики, материал, а тут...

Но и до моих ушей долетел срывающийся голос капитана из землянки:

— Заклинило?.. Ты понимаешь, мать твою, что говоришь?!

Бронебойным снарядом заклинило башню нашего тяжелого танка. Он вышел из боя.

— Танки задержались с выходом,— пояснил Алик.— Немцы успели очухаться после артподготовки...

Потом был тот провал пустоты, какой всегда наступает в неудачном бою: на НП царит неразбериха, все бессмысленно мотаются из землянки в траншею и обратно, передают друг другу противоречивые слухи, безостановочно верещит телефон, орет связной чьи-то позывные, и происходящее начинает казаться несерьезным и несмертельным, будто незадавшаяся военная игра, в которой партнерам не объяснили как следует правил. Кончается же все печально — появлением похоронной команды из старослужащих бойцов с лопатами. На этот раз дело обернулось иначе: справа от рощи возникли четыре металлические коробочки и, попыхивая синеватым дымком, двинулись в направлении НП. И кто-то сказал со смешливым удивлением, будто о нежданном сюрпризе:

— Мать честная, немецкие танки!

И капитан, выглянув из землянки, подтвердил со вкусом боевой ярости:

— Немцы перешли в контратаку. Сейчас мы им покажем кузькину мать!

Алик был на этот счет иного мнения.

— Если капитан обороняется как наступает — дело табак... — и прошел в землянку.

Металлические коробочки ползли и ползли, всё еще игрушечные, медлительные, неповоротливые и вполне безопасные. Они издавали слабое жужжание.

Вернулся Алик:

— Сейчас их остановят. Нашим артиллеристам поможет правый сосед. Задумано хорошо. Посмотрим, каково будет исполнение.

В траншее появились бойцы с длинной, узкой трубой — противотанковым ружьем и стали устанавливать ее на бруствере. Из леса, позади НП, ударили пушки. Снаряды прошли низко над головой, заставив всех нас невольно пригнуться, и разорвались перед металличе-

скими коробочками, взметнув грязный снег. Те продолжали ползти вперед. И в какой-то миг вдруг стало видно, что никакие это не коробочки, а танки, жующие снег и землю челюстями своих гусениц, с замаскированной, иссеченной, обожженной броней и установленными прямо на НП стволами орудий.

Откуда-то сбоку хлопнула полковая пушчонка. Затем еще одна. Танки продолжали идти вперед. Они ревели, вздымая грязевые фонтаны.

Я заметил, что некоторые командиры вытащили из кобур пистолеты, и последовал их примеру.

— Ты что, собираешься стрелять из своего пугача? — спросил Алик, с сомнением разглядывая мой наган.

— А что?

— Он разорвется при первом же выстреле! Ты его чистил когда-нибудь?

Я не успел ответить. Передний танк плюнул огнем, снаряд провизжал над траншеей и угодил в сосну на опушке леса.

— Все ясно, — сказал Алик. — Здесь делать нечего. Пошли!

— Ну что ты! Неудобно...

— Почему? От нас никакой пользы. Только путаемся под ногами. Твоя пушка опасна лишь для окружающих, а мой маузер заряжен шоколадными батонами.

— Никто же не уходит...

— Ну, это меня не касается. Я вольнонаемный... Не валяй дурака, пойдём! Брось свое мальчишество!

Четверо бойцов в грязных маскхалатах поползли со связками гранат к узкоколейному полотну, перерезавшему путь танкам.

— Я пошел! — Алик запахнул полушубок, застегнул крючки, поглубже надвинул ушанку. — Не лезь на рожон. Береги себя.

Он двинулся по ходу сообщения. Навстречу ему попались еще два бойца с гранатами. Вжавшись в стенку, он пропустил их, затем по вырубленным в земле ступенькам поднялся наверх, огляделся и, чуть пригнувшись, неторопливо зашагал к лесу. Я следил за ним с каким-то сложным, жгучим чувством, включавшим и дикую зависть, и обиду, и злость на себя, и невыносимый, до слез, восторг перед тем, что он уходит в жизнь...

Я не знаю, почему немецкие танки не достигли НП и повернули назад. Возможно, там командовал тоже какой-нибудь исполняющий обязанности, а может, помешал наш артиллерийский огонь. Во всяком случае, до гранат, ПТР и личного оружия дело не дошло.

— Вражеская контратака отбита! — осветившись наивной улыбкой, возвестил капитан.

— Пошли шамать, — предложил мне крупнотелый, осанистый корреспондент ТАСС.

Мы наткнулись на Алика шагах в пятидесяти от НП. Он лежал навзничь под высокой обгорелой сосной, и губы его чуть раздвинулись

в улыбке. Он, видно, не понял, что произошло, и улыбнулся нелепой случайности, настигшей его там, где он считал себя в безопасности, и называвшейся смертью. Он казался целым и невредимым, и лишь перевернув его лицом вниз, мы обнаружили крошечную дырочку в тупе под лопаткой. Пуля немецкого снайпера вошла через спину прямо в сердце, в его капельное сердце, привыкшее спасать себя бегством...

На встрече школьных друзей я рассказал о его гибели Лене Бармину. Тот так и не стал конференсье, хотя пытался направить судьбу в желанное русло. Щадя своих родителей, он по окончании школы поступил в Энергетический институт, выбрав его за самую мощную самостоятельность. На фронт его не пустили: он был нужнее в тылу. Но сразу после победы, уже будучи кандидатом технических наук, Леня пытался поступить в Московское эстрадное училище и не прошел по конкурсу. Сейчас он уже доктор технических наук и смирился со своей участью.

— Трагедия нашего поколения в том,— говорил он,— что в нашу пору не было КВН.

А про Алика Капранова Леня сразу все понял, хотя я ему и не все рассказал.

— Он был красивый,— задумчиво сказал Леня.— Удивительно красивый и ладный парень. С чудесной улыбкой. И хорошей головой... А мы сволочи! Паршивые сволочи!

— Это почему же?..

— Да потому! Кой черт мы не набили ему рожу на Рязанке? Надо было набить ему рожу и заставить ехать с нами. Господи, какого парня проворонили! Никогда себе не прощу!..

БЕДНЫЙ ОЛИМПИЕЦ

Отец сказал:

— Я тоже побегу.

Мать сказала:

— Ты в своем уме? Что за мальчишество?

— Телеграфист не моложе меня,— обидчиво сказал отец.— А ведь он бежит.

— Он вовсе не телеграфист,— сказала мать,— он адвокат. Кроме того, разве можно сравнивать?

— Вот и не сравнивай! — резко сказал отец.— А адвокаты не бренчат на гитарах и не поют томных романсов.

— Глупо,— сказала мать.— Что он тебе сделал?

— Мне? — как-то слишком выразительно произнес отец и пошел было на старт, но снова повернулся к матери.— Адвокат! Надо же! Аблакатишко — вот он кто!

— Ты просто ревнуешь. Это смешно.

— Ревную? К этому нэпманскому прихвостню? — И отец быстро пошел вперед.

Я понял, что дело заварилось круто: для трудяги отца не существовало более бранного слова, чем «нэпман».

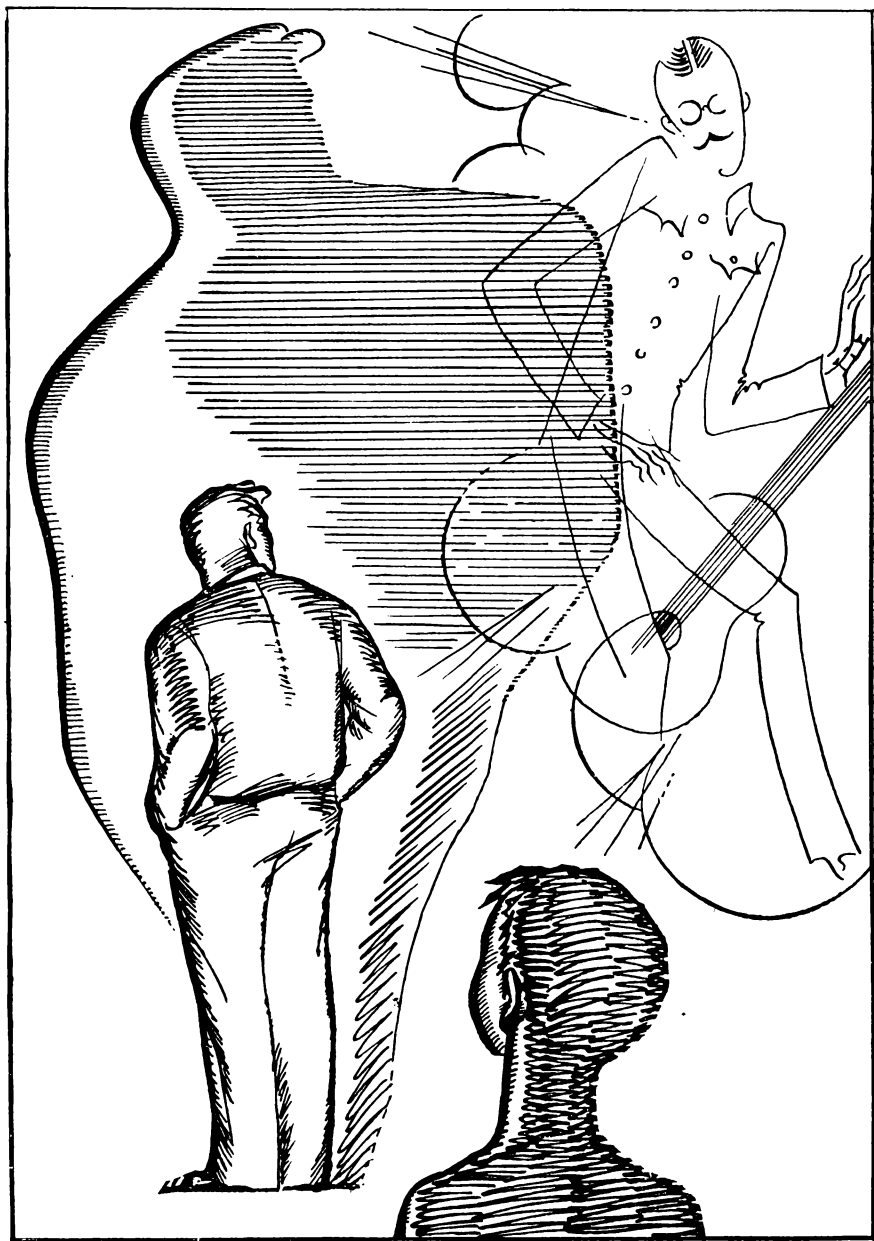
Этот воскресный день привычно начался с вереницы пролетов, доставляющих со станции гостей. В саду долго и вкусно пахло лошадьё — потным мылом и навозом. А потом, как и всегда, мы, дачные дети, неприкаянно слонялись среди пирующих взрослых людей. Все это уже стало привычным и не вызывало во мне прежнего чувства обиды, ревности, заброшенности и сумасшедшего желания отличиться, обратиться на себя праздник, в котором мне не было места. Тем более что среди дня приехал отец, вернувшийся из долгой командировки. В эту пору он работал на строительстве Бобриковской электростанции. Обычно наша дачная семья, состоящая из деда, Верони и меня, не устраивала праздничного стола. Если приезжала на воскресенье мать, ее приглашали либо хозяева, либо кто из дачников. Но сейчас впервые мы оказались в полном составе, и в нашей комнате раздвинули стол, накрыли крахмальной скатертью и оставили бутылками.

Вскоре появились гости. Раздался гитарный перебор, и высокий, чуть седеющий адвокат, красавец в белом кителе, ладно и крепко облежавшем его широкий плоский корпус, запел:

Я помню вечер и ту аллею,
Где мы гуляли с тобой вдвое-ом!..

Да, постоянный гость Шуриковой матери украшал сегодня наш праздник. Не знаю, как это случилось — ведь он приехал в гости вовсе не к нам, а к матери Шурика вместе со своим постоянным спутником, молодым коренастым инженером, и вдруг оказался среди нас, и его замечательная смуглая гитара легла на мою кровать. Присутствие этого человека наполняло меня гордостью. Мне нравились его небольшая черная блестящая голова, разделенная стрелой пробора, и седые мысы висков, и маленькие, тоже с проседью, усики над большим ярким ртом, и его длинные музыкальные пальцы, и костлявые колени худых, стройных ног, и его романсы, и его успех у красивой матери Шурика.

И вот сейчас этот великолепный человек запросто обедает в нашем доме. Моя гордость усугублялась ощущением победы — я угадывал, что мы повергли в прах мать Шурика со всеми ее чарами: статью королевы, грудным голосом, золотой короной волос. Слабым утешением ей остался молодой коренастый инженер, не удостоившийся нашего приглашения. Лишь мать была мне впервые чем-то неприятна: она странно, громко дышала, и я вдруг заметил, что она похожа на мать



Шурика. А потом кто-то затеял спортивные соревнования в саду, и наш гость, худой, высокий, с оленьими ногами, поспешил туда за новыми лаврами. К моему удивлению, смешанному с надеждой и страхом, отец тоже выразил желание вступить в борьбу.

Я очень любил отца, хотя мы мало бывали вместе. Можно сказать, что по его командировкам я изучал географию страны. Так вошли в мою жизнь Волхов, Шатура, Байкал, Новосибирск, Саратов. За каждым названием города, озера или реки возникала большая стройка, на которой работал отец. Позже, в пору первой пятилетки, отец расщедрился и подарил мне уже не название, а настоящий город, да какой — с дорогой через всю страну! Он вызвал нас с мамой на все лето в Иркутск, где строил гвоздильный завод.

Перед друзьями я хвастался своим отцом — его невероятной силой, отвагой, мужеством. В подтверждение своих слов я показывал им два солдатских «Георгия», полученных отцом в империалистическую войну. Один был с полосатой, чуть замусоленной ленточкой, от другого осталась серебряный потемневший крестик, ленточка потерялась. Отца наградили сперва за штыковую атаку, когда он, вольноопределяющийся, заменил убитого командира, другой крест ему вручили за удачную разведку. Товарищи с почтением разглядывали крестики, остро завидуя, что у меня такой героический и могучий отец. Но те из них, кому потом довелось встретиться с моим отцом, завидовали меньше и, похоже, начинали подозревать меня в обмане. Отец был удручающе маленького роста, не карлик, конечно, но, несомненно, левофланговый в любой воинской части; будь он еще хоть чуточку ниже, его вообще не взяли бы в армию. Широкие и сильные плечи выручали отца, они озадачивали и позволяли ему не быть смешным. Но мне его рост отравлял существование. Такой коротенький человек никак не годился для героической легенды, помогавшей мне смиряться с постоянным отсутствием отца.

Я так волновался, что не мог толком следить за состязанием акуловских олимпийцев. Вначале был бег, и, конечно, первым коснулся финишной ленточки длинноногий адвокат. Отец, к общему удивлению, сумел прийти вторым, опередив Кольку Глушаева, молодого инженера, хозяина дачи и других грозных соперников. Я ликовал и не мог взять в толк, отчего у отца такое несчастное, горькое лицо. А потом началась борьба. Отец положил всех соперников, а адвокат проиграл своему приятелю — инженеру, поэтому в конце отец боролся с инженером, но ничего не мог с ним сделать, хотя знал приемы, а молодой грубо давил весом. И он едва не припечатал отца, спасшегося чудом, после чего схватку признали ничейной, а обоих финалистов — победителями. Рот отца оставался таким же горьким, и мать опять уговаривала его бросить «всю эту чепуху». А отец сказал:

— Ну нет, он у меня попляшет!

И тут я понял, что отец состязается только с адвокатом, а до остальных ему нет никакого дела. Теперь я остро ненавидел адвоката с

его маленькой, изящной головой, пробором, длинными ногами, фатоватым кителем, гитарой и романсами. Ненависть к нэпманам была воспитана во мне всем духом нашей семьи. Изящный, лощеный человек в белом кителе был еще хуже нэпманов, он стоял на страже их денег, лавок, дач, их толстых животов и рыбьих глаз. Но ничего, сейчас отец заставит его поплясать!..

Но «поплясать» пришлось поначалу отцу. За борьбой последовали прыжки, и, конечно, отец осрамился. В длину он еще кое-как прыгнул, а в высоту проскочил под планкой, и все засмеялись. Затем они стали метать булыжник, помещенный в плетенку, — это заменял молот. И отец так запустил этот булыжник, что едва не разрушил ворота. Адвокат из кожи вон лез, чтобы метнуть дальше отца, лицо у него стало красным, несчастным и злым, и я понял, что он тоже борется только с отцом. Но куда он годился со своими жалкими плечиками и цыплячьей грудкой! Правда, руки у него были длинные и крепкие, и раз он послал булыжник почти к самым воротам. Но тут отец взял «снаряд», бешено раскрутил над головой и метнул за ворота. Все захолопало в ладоши, и адвокат сказал с кривой улыбкой:

— Я пас!

И, хотя он выигрывал чаще других, получилось, будто главный победитель мой отец. Соревнования кончились, и все пошли допивать вино, но адвокат не пошел к нам, он вернулся к матери Шурика, а потом прислал своего друга — инженера за гитарой. Правда, в этот день он уже не пел, не играл и вскоре ушел пешком на станцию.

К вечеру тревожно и едко запахло валерьянкой, забегала Вероня из комнаты в кухню, а дед, засучив рукава, стал набирать в шприц горячую воду и выпускать тонкой сильной струйкой. Меня прогнали из комнаты, и я не видел, как он впрыскивал отцу камфору.

В саду Колька Глушаев сказал мне с насмешливым восхищением:

— Силен твой батька, с грудной жабой — так вкалывать!..

Я не решился спросить, что такое «грудная жаба». Мне представилась настоящая серо-пупырчатая, тяжелая, неуклюжая жаба, поселившаяся в груди отца, на его сердце, и пьющая из него жизнь.

Когда я вернулся домой, отец лежал на кровати укрытый пледом, а мать сидела возле и держала его руку в своих руках.

— Все-таки ты сумасшедший... — измученным голосом сказала мать.

— А ты думала, я уступлю тебя какому-то «аблакатишке»? — спросил, чуть приподнявшись, отец.

Я пригласил Фетисова на рыбалку ради того, чтобы уравновесить Игоря Кустова.

— Ну как же так вдруг на рыбалку? Да еще зимой, ведь, поди, холодно! — говорил Фетисов, беспомощно оглядывая свое большое, раскормленное тело. — У меня и снасти нет.

— Снасть найдется. У моего приятеля — Игоря этого добра сколько угодно!

— Мне и надеть-то нечего.

— У вас, верно, осталось армейское обмундирование — сапоги, ватник, полушубок?

— Но я вырос из этих вещей. К тому же и встать придется чуть свет...

— Вам это только на пользу. Да и знаете ли вы, что такое рыбная ловля зимой?

Я не жалел красок, описывая ему всю прелесть подледного лова: дорогу на рассвете, озеро под солнцем, укутанные в снег деревья, розовые на закате. Я не надеялся пробудить в нем охотничий азарт, но Фетисов был немного художником. Вернее сказать, он был художником-реставратором. Свою жизненную ставку Фетисов выиграл несколько лет назад, когда, сняв пять слоев краски с невзрачного Николая Угодника, обнаружил Георгия Победоносца тринадцатого века. Сам Фетисов, человек скромный, невысоко оценивал свой единственный «гражданский подвиг». Он и о своих воинских трудах не любил вспоминать, хотя, видимо, их было немало, если судить по трем орденам, украшавшим в торжественные дни его грудь.

— Это было какое-то наитие свыше, — рассказывал Фетисов о своем открытии. — Не было никаких оснований ждать, что под угодником окажется что-нибудь ценное. Но я «раздевал» это полотно с упорством отчаяния. Мне нужна была удача, потому что ни на какое другое усилие меня все равно бы не хватило...

Может быть, он немного рисовался, но верно то, что этим своим деянием он обеспечил себе профессиональное имя, должность заведующего реставрационной мастерской и — самое для него главное — возможность спокойно жиреть в окружении книг, картин и всяких красивых вещей и вещей.

И все-таки я уговорил Фетисова — он был мне необходим как торроз против тех катастрофических сил, которые нес в себе Игорь Кустов. По вине Игоря я не раз тонул, пускаясь вплавь на дырявых плоскодонках или упускающих воздух надувных лодках; я калечил машину, буксуя в болотцах Мещоры или в песках Окской поймы; коротал мучительные ночи во всяческих топях и хлябях; несчетное число раз проходил испытание ветром, дождем, пургой, зноем. Но так как я ос-

тавался жив, то всякий раз позволял сызнова завлекать себя на опасный путь.

С Игорем я познакомился несколько лет назад, на берегу Черного моря. Но и в идиллической обстановке курорта он не раз умудрялся быть причиной великой тревоги обитателей маленького крымского поселка. Однажды, раздобыв у рыбаков парусную лодку, он пытался в шторм пройти Чертовы ворота; в полдень с погранпоста сообщили, что вблизи Золотой бухты обнаружена опрокинутая, без руля и без ветрил, шлюпка. По счастью, Игорь и соблазненный им отдыхающий спаслись вплавь, после чего Игорь все же вытащил на берег и полузатонувшую лодку. В другой раз, решив опровергнуть укоренившееся мнение о невозможности спуститься с Карадага к морю, он повис над пучиной, уцепившись за крошечный выступ; его спасли случившиеся туристы, кинув ему веревку...

Поначалу я решил — бывает и такое — Игорь начисто лишен инстинкта самосохранения и только позднее почувствовал в нем сильного и непростого человека, упрямо тренирующего свой характер для настоящего и серьезного дела жизни.

Узнав его ближе, я укрепился в своей уверенности. Четырнадцать лет Игорь бежал из дому в Федоскинскую артель. Там он обучался тонкому мастерству федоскинцев, пока не пришло известие о гибели на войне его отца. Тогда он вернулся домой, чтобы помогать матери растить двух своих маленьких сестер. Он стал делать портреты на фарфоре. Избрал он столь редкую и своеобразную специальность потому, что мало кто отваживается посвятить себя этому делу, требующему помимо способностей нечеловеческого терпения, тщательности и упорства. Игорю всегда надо было жить на пределе.

...Москва еще спала, когда я выехал за Игорем. На пустых площадях, обметаемых поземкой, темнеют одинокие фигуры милиционеров, которым еще нечего регулировать, не во что вмешиваться. Они разминаются, притоптывая валенками в калошах, похлопывая большими рукавицами. Все светофоры услужливо предлагают мне кошачий блеск зеленого глазка. «Конечно, я приехал слишком рано», — подумал я, с жестокой пробуксовкой одолевая схваченную гололедом горбину переулка, где жил Игорь.

Я ошибся. Игорь уже ждал меня около подъезда. За спиной у него фанерный ящик, служащий одновременно вместилищем для снасти и табуретом во время ловли. Через плечо висит пешня, в руках Игорь держит свернутую брезентовую палатку.

Игорь хозяйственно укладывает вещи в машину, частью — в багажник, частью — в кузов, затем говорит:

— Ты не возражаешь, если с нами поедет Надя?

— Нет, — говорю. — А кто такая Надя?

На широком лице Игоря, с круглыми, чуть удивленными серыми глазами и мягкими усиками над хорошо вычерченной губой, придаю-

щими его задумчиво-кроткому лицу неожиданный штрих мушкетерской лихости, появляется медленная, наивная и нежная улыбка:

— Моя жена.

— Ты женился?

— Месяц назад, Я думал, ты знаешь.

— Откуда? Мы же не виделись. Ну, поздравляю. Хорошая девушка?

— Женщина,— поправил Игорь.— Она была замужем за актером, он недавно умер. У нее остался сын пяти лет. Вчера он в первый раз назвал меня «папа»,— он снова улыбнулся.

— А что она делает?

— Работает в библиотеке, учится в вечерней школе, мы с ней в одном классе.

Не знаю отчего, мне стало немного грустно. Мне всегда казалось, что Игорь на особый, ни на чей не похожий лад споет песню своей жизни; около него меня всегда посещало чувство, что мир просторен, свеж, неизведан. И вот он так рано решил загнать себя в тесноту семейной заботы! Я внимательно пригляделся к Игорю, но не заметил в нем ни одной новой черты. Его серые глаза были по-прежнему обращены в одному ему ведомую даль, он по-прежнему походил на путника, у которого впереди большая дорога. И тогда я с острым любопытством подумал о женщине, связавшей себя с ним. Понимает ли она своеобычие характера Игоря, сочетающего мужество взрослого мужчины с чем-то неустоявшимся, детским? Она же не девочка, чтобы поступить очертя голову, она потеряла мужа, растит сына. Но прежде чем у меня сложился образ подруги Игоря, я увидел ее воочию.

Из парадного вышла молодая худощавая женщина в шубке с черным барашковым воротником и в коротких валенках, в руке клеенчатая сумка с провизией. У Нади было узкое смуглое лицо, большой темно-красный рот, удлинённые глаза с тяжелыми веками, которые она держала полуопущенными. Она была совсем молодой, лет Игоря, но тяжелые глаза делали ее старше. «Это — характер,— решил я по первому впечатлению,— она знала, на что шла, но рассчитывает подчинить себе Игоря».

Игорь представил мне жену с наивной торжественностью. У Нади оказался очень тихий голос: при разговоре она поднимала тяжелые веки и смотрела в глаза собеседнику, скромно, но твердо, только скулы ее при этом краснели, выдавая застенчивость или гордость.

Фетисова мы забрали на выезде из города. Вот уже сколько лет я не мог представить его себе иначе, как в стеганом халате, или просторной байковой куртке, или мохнatom пальто-размахайке. Он признавал лишь широкую, не связывающую свободу движений одежду. А сейчас он с ног до головы был облачен в военную форму: от валенок, по-армейски подвернутых ниже колен, до треуха с вдавленкой на месте бывшей звездочки. Его овчинный, некогда белый полушубок не сходил с него, несмотря на туго затянутый ремень, и между пола-

ми торчал его живот, обтянутый ватником. За спиной у Фетисова — рюкзак, через плечо — планшет, неизвестно, для какой надобности, на тыльной стороне запястья — компас. Он в самом деле «вырос» из своей воинской одежды, но когда прошло первое, несколько смешное, впечатление, я увидел, каким он стал ладным и подтянутым, и впервые представил себе другого, не знакомого мне Фетисова, война Отечественной войны.

Он не выспался, судя по набрякшим подглазным мешкам, но держался молодцом и даже укорил меня за опоздание. Я познакомил его с Игорем и Надей, присовокупив, конечно, что они молодожены.

— Доброе дело! — с чувством сказал старый холостяк.

Фетисов уселся, вернее, впахнул себя в машину рядом со мной, и мы тронулись.

— У меня девять удочек, из них четыре с мармышками, — сообщил Игорь Фетисову, — мотыля почти килограмм, четыре шумовки снимать сало, так что вы не беспокойтесь.

— Ну, порядок! — весело воскликнул Фетисов. Он, конечно, ничего не понял, но обстоятельность Игоря ему понравилась. Настолько понравилась, что он счел нужным высказать «молодому человеку» некоторые соображения о тех обязательствах, которые накладывает брак, о необходимости «строить жизнь»...

— Мы уже начали строить жизнь, — перебил его Игорь, одной из особенностей которого было совершенное неумение слушать отвлеченности. — Вчера мы ходили покупать Наде шубу. Надя, расскажи.

— Ты расскажи, — тихо попросила Надя.

— Пошли мы в магазин меховой, выбрали шубу. Надя, из чего она была?

— Из норки.

— Да, из норки. Красивая, две тысячи...

— Ого! — изумился Фетисов. — Вот это размах!

— А что такого? Она Наде идет. Правда, Надя?

Надя улыбнулась, наклонив голову.

— Надя в ней такая красивая, — продолжал Игорь, — на артистку похожа, правда! Но мы ее не взяли, а померили другую. Из чего она, Надя?

— Каракуль.

— Верно. Каракуль. Тысяча восемьсот пятьдесят. А мех более практичный. И Надя в ней еще лучше, строгая, на Анну Каренину похожа.

— Но это безумие — швыряться такими деньгами! — воскликнул Фетисов.

— Мы так и решили, — спокойно сказал Игорь, — и купили на толкучке за триста рублей вот эту, что на ней. Тоже очень хорошая шуба, почти не ношенная. А главное, Наде идет. Она в ней на себя похожа.

Фетисов посмотрел на меня и ухмыльнулся. Ухмылка его в рав-

ной мере относилась к Игорю и означала: ему пальца в рот не клади — и к самому себе: так тебе, дураку, и надо.

В дороге людям всегда лучше, когда между ними оказываются точь-в-точь соприкосновения. Я сказал Фетисову, что они с Игорем в какой-то мере собратья по ремеслу. Заинтересованный Фетисов принялся расспрашивать Игоря о его работе. С обычной положительностью Игорь разъяснил Фетисову сложный процесс перевода рисунка или фотографии на фарфор.

— И выгодное это занятие? — спросил Фетисов.

— Не особенно. Расценки низкие, трудно с материалом.

— Хорошо тем, которые в крематории. Да, Игорь? — сказала Надя своим тихим голосом.

— Чем же хорошо? — испуганно спросил Фетисов.

— Они за тот же портрет берут втрое дороже, — хладнокровно пояснил Игорь. — Кто же станет торговаться, если это для покойника?

— Игорь изобретение сделал... — сказала Надя. — Да, Игорь?

— Какое изобретение?

— Я придумал, как делать искусственный мрамор из фарфоровых плиток. У меня, кажется, есть с собой образец. — Игорь порылся в карманах и достал четырехугольную пластинку, расцвеченную под мрамор «павлиний глаз».

— Но это же мрамор! — воскликнул Фетисов.

— Нет.

Фетисов взял в руки плитку.

— Тогда это просто раскрашено.

— Попробуйте снять эту раскраску или вот вытравить...

— Но... тогда это грандиозно!

Игорь засмеялся.

— Вот так и все говорят, к кому я ни обращался. Сперва «мрамор», потом — «раскрашено», напоследок — «грандиозно».

— Но это следовало бы внедрить в производство!

— Нет таких печей. Я добиваюсь, чтоб построили опытную печь, но пока без успеха.

— Черт знает что такое! — вскипятился Фетисов. — Проклятое равнодушие! Знаете что, я оставляю у себя вашу плитку. И, даю слово, завтра же займусь этим делом. Я связан с фарфоровой промышленностью. Если надо, — дойду до министра!..

Он еще долго говорил по этому поводу, он весь кипел святым негодованием, а я сидел и думал: что это с ним приключилось? Стоило попросить Фетисова о деле самом пустячном, связанном для него с небольшой затратой усилий, как он неизменно отвечал: «Бросим это. Возьми у меня лучше взаймы».

Оборвалась цепочка желтых фонарей вдоль шоссе, мы выехали из города в глухой и туманный, далекий от рассвета сумрак. Я включил дальний свет, но, отраженные туманом, лучи фар свернулись в клубок у передних колес машины. Я снизил скорость.

И справа и слева от нас низина клубилась туманом, изредка из тумана возникали одинокое дерево или столб и вновь исчезали. Даже за шумом мотора было слышно, как свистит поземка, скручивая и раскручивая тугие петли. И все мы невольно примолкли, заворуженные унылой, холодной песней простора.

Дорога пошла в гору, туман чуть разрядился, но даль, подернутая серою мглой, по-прежнему была непроглядна.

Порой мгла впереди обливалась желтым, пятно растекалось, поднималось вверх, становясь огромным, и казалось — мы въезжаем в залитый огнями город. Но вдруг желтизна съеживалась, собиралась в два ослепительных ядра света, и, резанув по глазам лучами фар, мимо проносилась встречная машина, и мы вновь погружались в холодный, неприятный сумрак.

Ветер охлестывал машину, швырял в ветровое стекло пригоршни снега, а машина все бежала и бежала вперед, всасывая дорогу. И никто не заметил, как хмурый рассвет перешел в чистое, погожее утро. Как-то разом оказалось, что небо совсем голубое, и солнце забралось высоко, и огромный сверкающий простор населен лесами, перелесками, деревнями, колокольнями.

— Я этой дорогой на фронт ехал, — сказал Фетисов. — На Волховский, через Боровичи, Неболчи, Будогощ... С нами еще был старший батальонный комиссар Нечичко... — добавил он задумчиво.

— А где он теперь? — спросил я.

— Не знаю, — серьезно ответил Фетисов. — Я его больше никогда не видал...

— Я взял с собой донки, — точно преподнося сюрприз, сказал Игорь. — Может, кто захочет на карася посидеть?

— А есть там сейчас караси?

— Конечно, нет — в том же тоне отозвался Игорь.

— Зачем я вчера маковый пирог съела? — тихо сказала Надя Игорю. — Ты бы его сейчас поел...

Все это было чистой бессмыслицей, но не мне смеяться над моими спутниками — я тоже невесть зачем посигналил пустой дороге. Просто каждый из нас по-своему приветствовал рождение нового дня.

Мы въехали на мост через реку. На перилах моста, утопив в тепле грудных перебив клювы и выставив костлявые плечи, сидели галки. Внизу, насколько хватало глаз, белое ложе реки было усеяно темными фигурками рыболовов. Отсюда казалось, будто другая галочья стая вмерзла в лед.

И, почувствовав теплый ток в груди, я невольно прибавил скорость...

Озеро было еще далеко, но простор словно загодя готовил нас к встрече с ним. Густой ельник по сторонам дороги сменился ветлами и другой порослью, тяготеющей к воде. Все чаще попадались речки и ручьи, сухие камыши помечали скрытые под снегом дочерние водоемы озера.

А затем возникло неизвестно откуда берущееся ощущение близости большой воды.

— Нам бы на Малиновые острова проехать, — мечтательно сказал Игорь. — Там ерши — вот! — и он широко раздвинул пальцы.

— За чем же дело стало? — бодро откликнулся Фетисов.

— Ты что-то раньше помалкивал об этих островах, — сказал я. — Мы же уговаривались ехать на базу.

— База что! — пренебрежительно отмахнулся Игорь. — Окуньков с палец таскать — все занятие.

— А какая из ершей уха вкусная! Да, Игорь? — тихо сказала Надя.

— Да ведь мы застрянем в пути — вон сколько снегу намело! — и я с надеждой взглянул на Фетисова, думая, что он поддержит меня.

— Чепуха! — сказал он. — Трое мужчин — и застрянем? Вы же бывший волховчанин! Небось помните, какое там бездорожье? И ничего, пробивались.

— Я тоже могу машину толкать, — сказала Надя. — Я сильная.

— А вы, видать, страстный рыболов, — с улыбкой заметил Фетисов.

— Я — как Игорь, — покраснев, ответила Надя.

«Душечка», — перерешил я для себя образ жены Игоря, а вслух сказал:

— Ну что ж, едем на Малиновые острова.

Почти весь путь до Малиновых островов — километра четыре — мои спутники тащили машину на себе. Фетисов без усталости орудовал лопатой, ломал ветки, несколько раз сдирал с себя полушубок и швырял его под бешено буксующие колеса. Его крупная фигура возникала то у бокового стекла, то у крыла машины, то он подталкивал ее сзади, обнаружив немалый запас силы в своем рыхлом теле. Когда же мы выбрались на твердую, обдутую ветром горбину первого голого острова, от которого начиналась цепочка поросших прямыми мачтовыми соснами островков, названных почему-то Малиновыми, красный и потный Фетисов крикнул мне с азартом:

— Ну что, маловер, сладили мы с дорогой?!

Мы проехали по льду на второй из островов, наиболее удобный для стоянки. Кроме сосен он оброс по краям густым кустарником, защищавшим сердцевину острова от ветра и заносов. Тут мы и оставили машину, накрыв ее брезентом.

Я думал, что мы будем ловить вблизи этого острова, но Игорь повел нас дальше, за мысок последнего островка, на заводь, где из-под снега торчали сухие прутья тростника. Оказывается, и в зимнюю пору лучше ловить в тростниках, поскольку рыба находит там скудное питание, главным образом икру улиток и продукты гниения.

Все пространство озера было усеяно рыбаками. Одни, как и мы, лишь направлялись к месту лова, другие уже отловились и сейчас устало брели к дороге, у других был самый разгар ловли.

По пути Игорь обменивался с рыбаками двумя-тремя словами, заглядывая в ведерки и что-то сообщал про себя.

Идти было тяжело. Снег, накрывавший лед, казался твердым, но под присохшей корочкой обнаруживалась податливая мякоть, и ноги то и дело проваливались в глубину. Особенно худо приходилось Фетисову, самому грузному из нас. Одну Надю держал наст, и это производило странное впечатление, будто она двигалась по воздуху, едва задевая снег маленькими валенками. Справа показались камыши, но Игорь вел нас все дальше и дальше.

— А почему бы нам здесь не остановиться? — предложил я.

— Можно, конечно, но дальше будет лучше, — отозвался Игорь.

— От добра добра не ищут. Верно, Василий Сергеевич?

Оборотив потное, раскаленное лицо и тяжело дыша, Фетисов сказал:

— Нет, зачем же, уж если взялись... — но не dokonчил фразу, по пояс провалившись в снег.

Идти становилось все труднее. Узенькая тропка, проложенная рыбаками, разбилась на отдельные следки, снеговая поверхность забугрилась сугробами, еще более податливыми, чем ровный наст. Но вот наконец шедший впереди Игорь остановился. Место, на которое он привел нас, не было ничем примечательно — те же редкие, сухие камыши, — но рыбаков здесь скопилось порядочно, а это неспроста.

Мы сложили нашу поклажу у полукруглой снеговой огорожи, припудренной свежим снегом. По затянутой ледком проруби было видно, что прежний хозяин лишь недавно покинул это место.

Фетисову и Наде Игорь поручил укрепить огорожу, а мы с ним занялись лунками.

У Игоря был с собой ободранный веник. Я развел небольшую площадку, Игорь очертил круг и с силой вонзил пешню в лед. От темной, тусклой поверхности льда отскочил неожиданно светлый, прозрачный кусочек. Пешня методически взламывала твердый ледяной панцирь, я отбрасывал куски в сторону, и все-таки дело продвигалось медленно. Краешком глаза я подметил, что окрестные рыбаки все время что-то таскают из воды. Знакомо засосало под ложечкой.

— Дай-ка мне пешню, — сказал я, — ты, верно, устал.

— Нет, ты не сможешь быстрее.

Игорь скинул шубу и опять заработал пешней. И вдруг пешня точно вырвалась из рук Игоря, глубоко ушла в дыру. Из пробойны вышла вода и растеклась вокруг, жадно поедая снег. Теперь дело пошло веселее, вода помогала работе Игоря, размывая в глубине лед. Крупные куски льда всплыли на поверхность. Я стал вычерпывать их шумовкой. С краев проруби в воду осыпался снег, смораживаясь в студенистые зеленоватые комья. Чем упорнее я их вычерпывал, тем больше их становилось.

— Снега не трогай, — посоветовал Игорь, — вычерпывай только лед.

Надя, покончив со своим заданием, тоже вооружилась шумовкой. Вдвоем мы быстро расчистили прорубь от льдинок. Затем Надя осторожно, словно накипь с супа, сняла студенистый налет. Чистый кружочек воды зачернел среди снега.

Теперь опять пришел черед Игоря. Отложив пешню, он набрал в ладонь снегу и стал подмораживать прорубь. Сперва он разделил ее перемычкой на две половинки, затем подморозил с бортов, пока на месте широкого круга не остались два крошечных круглых глазка.

Затем Игорь вскрыл старую прорубь, не успевшую замерзнуть до крепости девственного льда.

Тем временем я наладил удочки и, вымерив дно, установил спуск. Все готово...

Я посмотрел на Фетисова. Он держал удочку в руке, но ловить почему-то не начинал. С задумчивым и растроганным выражением глядел он на золотистую, сверкающую, в голубых тенях даль озера с невысокими берегами, обросшими соснами. Между верхушками сосен небо особенно синее, а над головой оно прозрачно, бледно и бездонно, и облака кажутся совсем близкими — столько угадывается за ними выси...

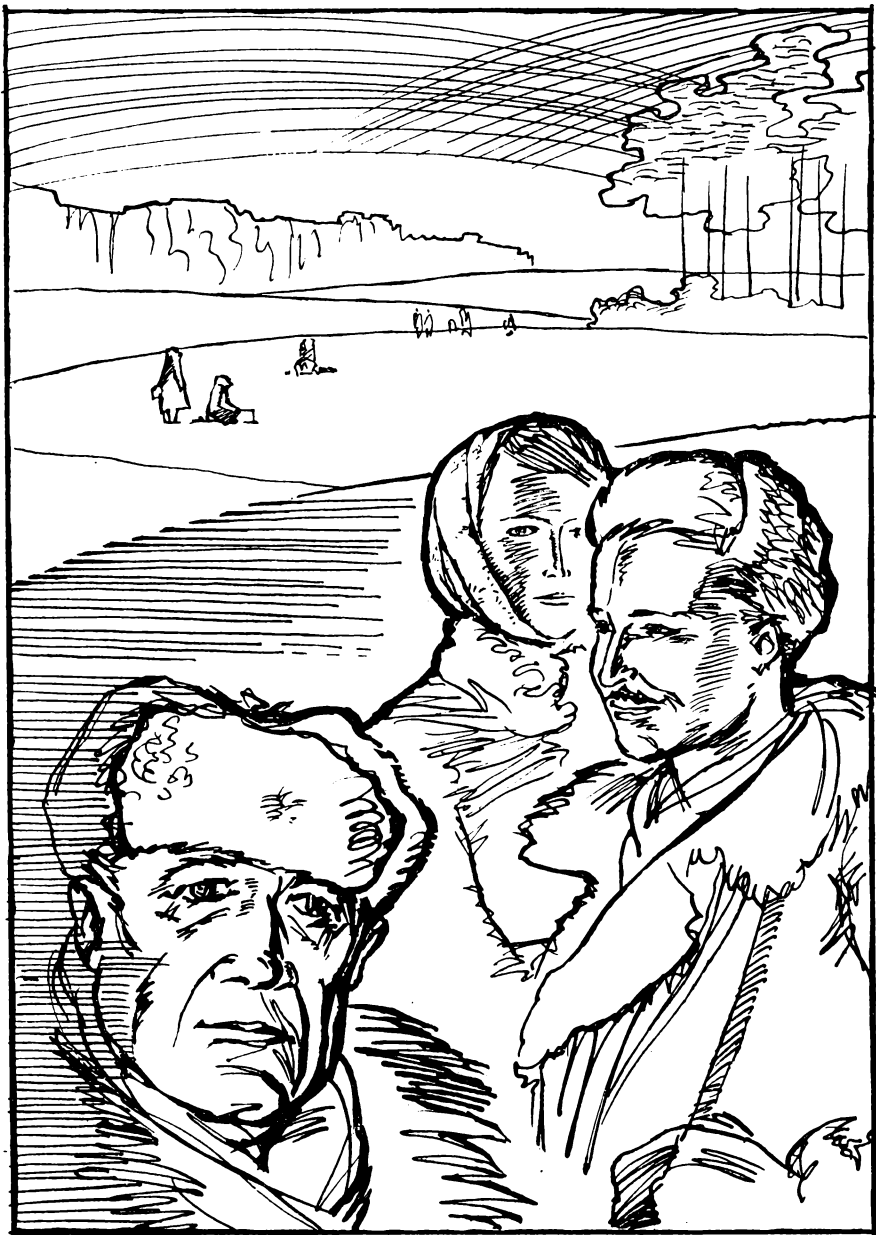
Это было как возвращение забытой любви, и я не стал тревожить Фетисова, хотя в своей задумчивости он вывалял в снегу и заморозил мотыля, а на мороженого мотыля не возьмет даже самая изголодавшаяся, тощая плотичка.

Я отошел к своей лунке. Устроив себе сиденье из нескольких брусков снега, я уселся и закинул удочку. Слово «закинуть» тут не очень подходит: зимнюю удочку не закидывают, а спускают в воду. Леска путаным мотком лежит у твоих ног, а ты берешь грузило, закрепленное сантиметрах в пяти от крючка, и бросаешь его в лунку. Грузило увлекает за собой крючок с мотылем, а затем быстро «выбирает» и леску. Поплавочек повисает в воде на глубине в полсантиметра, и все исчезает округ, на нем одном, крошечном кусочке пробки, сосредоточивается все твое существо, все твои помыслы и надежды.

Лунка быстро затягивается иголками льда, снимаешь их шумовкой, стараясь не задеть леску. Поплавочек недвижим, он будто вмерз там, в глубине, в воду. И вдруг он тюкает, раз, другой. Но ты не можешь поверить этому сигналу из неведомого, пропускаешь момент; когда же наконец отваживаешься подсечь, то леска, лишь на миг отяжеленная добычей, сразу становится противно легкой: сорвалось. Впрочем, у ног Игоря уже лежат несколько рыбешек, да и Надя снимает с крючка не то окунька, не то плотичку.

— Чепуха, — говорит Игорь, подметив мой взгляд, — одни окуньки... Э нет, — добавляет он тут же. — вот и ершик клюнул! — И действительно, тут же вытаскивает желтого ерша.

Но я был бы рад и окуньку. Подсаживаю к обсосанным мотылям свежих и опять спускаю леску в прорубь. И снова вздрагивает поплавок, и я каждой клеткой тела знаю, что теперь уж не упущу.



Есть что-то непередаваемое, волнующее в том, когда из темной, мертвой глубины проруби, этой страшноватой до вздрога холодной дыры в белом теле земли, возникает живая серебристая рыбка. Чувствуешь себя сопричастным той скрытой, тайной жизни, что творится подо льдом и снегом в глубоком лоне. А рыбка сама холодная, как глубь реки, откуда ее извлекли, и все же в ней чувствуется скрытое тепло жизни, позволяющее ей так биться, трепыхаться на конце лесы. Это всего-навсего окунок, но почин сделан...

Мы ловили часов до трех, когда Надя объявила, что уха готова. Она натаскала с острова сухих веток, развела костер и сварила не только уху, но и отличную пшеничную кашу с луком. За обедом мы делились нашими успехами. Оказалось, Игорь наловил больше, нежели мы с Фетисовым вместе, притом у него преобладали ерши и плотва, а у нас же — окуньки.

— В чем тут дело? — спросил Фетисов. — У нас же все одинаковое!

— В чем дело? — Игорь помолчал, затем кивком головы указал на прорубь. — А я живу там.

Он не мог бы дать лучшего объяснения. Мы видели поплавки, он видел реку. Мельчайшие знаки, которых мы даже не замечали, открывали Игорю картину подледной жизни, словно он сам был обитателем речного царства. По двум-трем поклевкам он уже знал, подошла ли случайная рыбка, или стайка, или целый косячок. Он все время приспособливался к рыбе, меняя крючки и мормышки, наживу и настройку. Он слышал лед, отзывающийся тонкой, не всякому уху доступной, музыкой на любую перемену погоды, и понимал, как эта перемена отразится там, в глубине...

— А знаете, — каким-то доверительным тоном заговорил Фетисов, словно реплика Игоря навела его на тот же ход мысли, что и меня, — природу воспринимаешь по-настоящему глубоко не когда наблюдаешь ее, а когда трудишься в ней, ну хотя бы ловишь рыбу... Ей-богу, я в эту поездку узнал о природе больше, чем за многие годы! Я только тут увидел, до чего я темен и некультурен со всеми своими книжками и насколько вы, — он отнесся к Игорю, — более образованный человек, чем я...

Игорь никак не отозвался на эти «отвлеченности», он встал и сказал:

— Пора и за дело.

Свечерело незаметно, как всегда на реке во время ловли. Узенький, приплюснутый закат окрасил краешек неба и быстро погас. Но настоящей темноты не наступило, будто снег отдавал весь скопленный им за день свет назад в простор. А клев стал еще лучше, словно озеро решило вознаградить нас за упорство. Теперь все чаще не только Игорь, но и мы с Фетисовым таскали крупных плотиц. Правда, часто и срывалось, поплавки стали совсем не видны в черноте проруби, мы больше тащили наугад. Игорь разжег у своей проруби

небольшой костерик из остатков большого костра, а тут Надя притащила с островка огромную охапку можжевельника, и мы тоже осветили свои проруби.

Во время ловли нередко случаются минуты словно бы забытья. Это обычно бывает, когда после хорошего клева рыба вдруг перестает брать. Не хочется верить, что это всерьез, прилипаешь взглядом к поплавку и в каком-то самозабвении утрачиваешь представление об окружающем мире. Нечто подобное произошло со мной. Я знал, что порошит снег, что дует сильный ветер, но тело мое оставалось нечувствительным к тому, что творилось вокруг меня. Я видел лишь удручающую неподвижность поплавка. И вдруг в какой-то миг яростный ветер, ворвавшийся в пазы одежды, словно прижал к моему телу ледяные ладони; я очнулся и увидел, что началась метель.

Поверхность озера будто вспухла, с севера несся снег и, расширяясь о крутые берега Малиновых островов, взвихрялся до высоты сосновых ветвей.

В этом мутно-белом тумане мои товарищи, склонившиеся над своими лунками, казались окаменевшими призраками.

Фетисова облепило снегом, но ему и горюшка мало — воинская одежда защищает от любой непогоды! Иное дело Надя. Ей, бедной, верно, не раз вспомнились те дорогие, из теплого меха шубы, которые она ходила примерять с Игорем...

— Зря ты все-таки потащил с собой Надю, — сказал я Игорю.

— Как же зря? — серьезно и недоуменно сказал Игорь. — Она мне нечужая.

— Да ведь женщина, трудно ей.

— Это разве трудно? — усмешка чуть тронула его подмерзший в уголках рот. — Трудно будет, когда мы далеко поедем.

— Куда это — далеко?

— Мы еще не решили куда... Где-то оно есть, наше «далеко». Вот там будет трудно, ох как трудно! — проговорил он с наслаждением, видимо всем сердцем ощутив это еще неизвестное и трудное «далеко». — Мы же молодые... — с застенчивой улыбкой добавил Игорь.

Я невольно посмотрел на усыпанную снегом, тихую, кроткую фигурку Нади и сейчас окончательно определил для себя жену Игоря: «Подруга, спутница». Да, она знала, на что шла, знала о том «далеко», которое их ожидает, и готова до конца идти путем Игоря...

Впервые Игорь приоткрыл мне свой сокровенный мир, приоткрыл чуть-чуть, но что-то мне уже виделось, и, желая узнать больше, я спросил:

— Когда же вы поедете?

— Сперва станем покрепче на ноги... Главное, школу кончить... Да и сестер надо пристроить... — он еще что-то сказал, но усиливавшийся ветер подхватил слова у самых его губ и отнес прочь.

Между тем метель и стужь брали свое, к тому же и подо льдом было беспокойно. Из прорубей стала выплескиваться черная, густая, как

мазут, вода и растекаться вокруг, с шипением пожирая снег. Я предложил товарищам собираться в обратный путь.

— Когда стихнет, здорово клевать будет,— ни к кому не обращаюсь, произнес Игорь.

«Вот оно, начинается!» — мелькнуло у меня.

— Подумаешь, какая беда — метель,— будто размышляя вслух, продолжал Игорь.— Поставим палаточку, отдохнем, а на зорьке дадим жизни.

— Ну, знаешь! Надя, хоть бы вы одернули мужа!

— Я — как Игорь,— прозвучал тихий ответ.

— Василий Сергеевич, скажите веское слово!

— Да что же, я за ночевку,— последовал ответ.— Ведь это чудо как хороша зимняя ночь на реке!

Тщетно я рисовал благодать возвращения домой, горячий чай, теплую постель. Нет, отныне Фетисов был за холод, пургу и лишения...

А пока шел спор, ветер унялся, расчистилась даль озера, из-за сосен Малиновых островов выглянула луна, и пахнувшая снегом теплынь разлилась в воздухе.

— Ну вот,— сказал Игорь,— минут через тридцать начнется клев.

— С чего ты взял?

— А я заметил: клевать перестало за полчаса до пурги; значит, снова клевать рыба будет через столько же...

Мне казалось, что люди нередко сами придумывали для природы законы, в тщетной попытке как-то упорядочить царящий в ней хаос. Но законы, которые знал Игорь, были всегда точны. Не прошло и полчасика, как наши удочки вновь заработали.

Ловили мы с Игорем, а Фетисов помогал Наде ставить палатку. Правда, он иногда подбегал к своей лунке и проверял удочку, которая не всякий раз оказывалась пустой.

Сколько бы ни колобродили люди днем, сколько бы ни шумели, ни суетились, все кончается сном. Даже самых неутомимых и жадных к делу жизни кладет на лопатки мягкая и неумолимая лапа ночи. И настала такая минута, когда неугомонная натура Игоря не выдержала.

— Ну, будем устраиваться на ночлег,— сказал он, извлекая из воды удочку.

— Чего же устраиваться — все готово! — бодро отрапортовал Фетисов.

Действительно, брезентовый домик был установлен, и на его тугие бока тихо садились снежинки. Вдруг Фетисов хлопнул себя по лбу:

— Да ведь у меня в рюкзаке имеется трофейная плащ-палатка.

— Знаете что,— задумчиво сказал Игорь,— дайте ее мне.

Фетисов отошел, чтобы исполнить его просьбу, а я спросил:

— Зачем она тебе?

— Я оборудую из нее другой домик.

— Да разве мы не вместе устроимся?

— Мы с Надей будем отдельно.

Не знаю, как это случилось, но в эту поездку я почему-то упорно держался роли носителя тупого здравого смысла. Я принялся докзывать Игорю, что это совершенно лишнее, что вчетвером мы скорее надышим тепло.

Он, как всегда, внимательно выслушал меня, затем сказал просто:

— Мы так редко бываем вместе.

Однако здравый смысл не оставил меня и тут, я сказал:

— Но вы женаты почти месяц!

— У Нади — сынишка, у меня дома — сестры. Нам негде быть вместе.

Он застенчиво улыбнулся и пошел ставить вторую палатку. Я едва успел прибрать снасти, а уж второй домик стал рядом с первым, и Надя, пожелав нам спокойной ночи, скрылась в нем.

Игорь по-хозяйски осмотрел наш маленький лагерь, проверил, хорошо ли я прибрал снасть, укутал в тепло оставшихся мотылей и лишь затем откинул полог своей палатки. На миг я увидел два живых, неспящих, ждущих Надиных глаза. Полог задернулся, и в крошечном домике будто умерло все в цепенелой тишине объятия.

Я тоже забрался в палатку. Мне показалось там тепло и уютно. За парусиновым полотнищем ощущалась огромная ночь, в темном вырезе входа проносились редкие снежинки, сдутые ветром с сосен и сугробов.

Фетисов все не шел, и, позавидовав тому, что он один наслаждается этой ночью и тишиной, я выбрался наружу. Небо было чистое, и сиял месяц. Тени сугробов и сосен Малиновых островов расцвели под мрамор светлый простор озера, будто Игорь в гигантском масштабе проделал свой опыт. Я увидел Фетисова в нескольких шагах от палатки. Он медленно прохаживался взад-вперед и будто сторожил эту драгоценную ночь.

— Вы словно часовой,— сказал я, подходя.

— Да я и есть часовой,— ответил Фетисов со странной улыбкой.— Знаете, я сам долго не мог понять, что со мной творится сегодня. Но когда я напялил этот старый полушубок, когда запихнул себя в эту строгую и умную солдатскую одежду, я опять стал солдатом. Вы не можете себе представить, как волнует кислотоватый запах овчины, идущий от этого полушубка, как он подстегивает, как хорошо будоражит. И вот о чем я подумал: если уж меня продрало такое... продрало сквозь все слои жира... значит, в каждом из нас живет добрый русский солдат, а это серьезная штука...

Фетисов отвернулся, чуть наклонив голову. Сухо и нежно прошуршал ветер, оставив после себя пустую, чистую тишину.

Я вернулся в палатку. В узком просвете мне виднелась темная фигура в воинском полушубке с поднятым воротником. Человек стоял там, охраняя снег, небо, сон спящих, любовь любящих, охраняя всех хороших людей на земле.

— Без Валета там делать нечего,— сказал охотовед Горин. Маленький, худенький, тонкогубый, страдающий язвой и все же пьющий водку, он обладал сильным, полным металла баритоном, легко, без напряжения покрывавшим любой шум. А за столом в охотничьей избе было порядком шумно. Мы только что пообедали консервами и ухой, хорошо выпили и, подобно всем охотникам на привале, не отличались молчаливой сдержанностью. На меня богатый голос Горина действовал гипнотически, я не понимал, как можно ему возражать.

— Я слышал,— сказал толстенький подполковник в отставке,— что в мхах тетеревей до черта, и собака не нужна.

— А вы можете по мхам ходить? — загремел Горин.

— Я сердечник...

— Вы сердечник, я,— Горин ткнул себя пальцем в грудь,— язвенник, он,— кивок в мою сторону,— после инфаркта, у Валерика радикулит.

— Ладно болтать! — огрызнулся усатый Валерий Муханов. — А разве вы в Щebetовке не держите спаниеля?

— Спаниель стойки не делает,— поглаживая рукой солнечное сплетение и морщась, говорил Горин.— Нешто это охота? Нужен настоящий лягаш... — он вдруг надул щеки, шумно выдохнул воздух. — Матвейч, у вас соды не найдется?! — крикнул хозяину избы.

— Должна быть,— отозвался Матвейч, крепкий, гнутый в спине старик, небритый, нечесаный, в розовой застиранной рубашонке в роспуск поверх засаленных ватных штанов.

— Хоть и без стойки, а работал этот спаниельчик — будь здоров! — сказал подполковник. — Я его еще по Можайскому охотхозяйству знаю. За милую душу подымает чернышей.

— А почему мы не можем с ним охотиться? — робко спросил я. Горин жадно пил воду из кружки, держа ее двумя руками; он не мог ответить, лишь сделал большие предупреждающие глаза.

— Доконали собачонку,— ответил подполковник. Он, не разлучаясь с нами, как-то удивительно сумел оказаться в курсе всех здешних дел.— Лапы сбила.

— Охромела! — отняв кружку от губ, но в ее гулкость уронил Горин.— Короче, пока Толмачев с Валетом не явится, нам в Щebetовке делать нечего.

— А когда он явится? — спросил Муханов.

— Странный ты, ей-богу, Валерик! — загрохотал, ничуть не прягая связок, Горин.— Ведь при тебе разговор был. Как обкомовские отохотятся, он тут же выедет. На протоке его ждет егерь Пешкин с мотором. Ну, чего тебе еще нужно?

— Толмачев устанет и завалится спать... — начал Муханов.

— Ни в жизнь! — Горин хлопнул кулаком по столу. — Раз ему охотовед приказал...

— Не в том дело, — вмешался подполковник. — Про Толмачева говорят — железо! Может не спать по трое суток. Солдат, пехота — царица войны...

Уже не впервые расточались похвалы Толмачеву, как и не впервые завязывался этот беспредметный разговор. Мы третий день томилась в богом забытой деревушке Конюшково, ожидая Толмачева и Валета, и настроение у нас было неважное. Обычно споры кончались тем, что Матвейч натягивал ветхий кожушок и, высмеивая из глаз мелкие стариковские слезы, отправлялся «за маленькой».

Как ни мечтал я об охоте на боровую дичь, сейчас мне не без грусти думалось о чудесной, налаженной, простой и безотказной мещерской утиной охоте. За время, даром потерянное здесь, я успел бы насладиться всеми радостями охоты и плотно набить ягдташ.

— Валерик! — послышался густой, но умягченный нежностью голос Горина.

— Ну?

— А я видел тебя во сне.

— Правда, что ль?

— Да. Ты сидел на двух дубах и держал орла в зубах.

Это был их способ мириться после споров.

Я вышел из дома.

Ясный и чистый осенний день клонился к вечеру. Деревня стояла на острове, в глубокой заводи озера Могучего; наша изба была крайней, ближней к воде. Если не знать про озеро, то кажется, будто деревенька сползает по косогору к обычной речке — так узка полоса воды между островом и берегом «большой земли».

В горловине заводи остров соединен с берегом деревянным мостом, но мост изгнил, провалился, и теперь общаться с землей можно лишь лодками.

В пустоватой, затерянной меж большой водой и большим небом деревеньке люден и полон жизни прилегающий к воде край. Здесь на берегу сколачивают и смолят лодки, баркасы, сушат и чинят рыбацкие сети; отсюда отправляются на рыбалку мужики, по клюкву и бруснику — ребятишки, здесь греются на солнышке старики, судачат старухи и женщины стирают белье, глухо стуча вальками. Прямо передо мной — мостки, уходящие далеко в воду. На их дальнем конце стирает красивая Данилиха с седой прядью в жгуче-черных волосах. Из-за этой пряди Данилиха, вопреки правилам деревенского приличия, не носит платка. Данилиха — вдова, муж ее умер от ран вскоре после окончания войны, оставив ее с дочкой на руках. Дочка тоже на мостках, но ближе к берегу, помогает матери. Это смуглая тонкотелая девушка лет семнадцати. Худенькая, тоненькая, она все же очень похожа на свою дородную мать и чертами лица, и даже складом фигуры, крепкой, несмотря на тонину.

Когда Данилиху видишь одну, она кажется молодой и привлекательной, но рядом с дочерью резко проигрывает. Из-за их схожести особенно остро и печально видишь неизгладимую печать времени на лице ее и стане: щеки чуть провисли, круглая шея обрюзгла, в груди и плечах усталость.

Данилиха стирает белье для охотничьего домика. Она сидит на корточках, юбка задралась, обнажив круглые смуглые колени; движения ее сильны, размашисты и плавны. Люда нежно враждует со своим чуть неудобным ей, как новая одежда, молодым телом. Она полощет какую-то белую тряпицу, но поминутно отвлекается, чтобы потрогать себя между лопатками, коснуться то плеча, то шеи, то бедра. Вдруг платье начинает жать ей в груди, и она двигает плечами, чтобы избавиться от тесноты, боязливо подталкивает груди ладонями.

Мимо меня к мосткам с пустой поллитровкой прошел Матвейч. Он окликнул Данилиху — магазин располагался у нее в доме, — и та сразу поднялась, одернула подол, сделала несколько шагов по мосткам к берегу и кинула Матвейчу ярко взблеснувшую связку ключей. Матвейч не поймал их, ключи упали под берег. Он затрясся от смеха, тяжело опустился на колени и нашарил ключи в мелкой воде.

— Недотепа! — крикнула Данилиха. — Тебе сколько нужно?

— Одну...

— Брал бы сразу ящик, все равно опять пошлют! Деньги положи под счеты, а посуду оставь в сенях!

— Будет сделано, товарищ начальник!

Матвейч двинулся было прочь, но вдруг обратился ко мне:

— Книжка там на подоконнике лежит — ваша?

— Шмелева? «Человек из ресторана»? Моя.

— Продайте мне. Тут не достать.

— Берите так.

— Неудобно. Лучше продайте.

— Возьмите на память.

— Ну, тогда спасибо.

Если забыть об охоте, то мне все нравилось здесь. Нравилась эта деревушка, невесть зачем построившаяся на островке, странноватые, беспечно-приветливые люди, легкий налет бессмыслицы на всем здешнем существовании. Ведь куда проще было переселиться на «большую землю», чем терпеть все тяготы островного существования. Куда проще отремонтировать мост, чем держать целую флотилию лодок для связи с остальным миром. Но похоже, здешним жителям нравилась их уединенность, затрудненная, необычная жизнь. На лодках отправлялись они работать в поле; тесно набиваясь в узкую плоскодонку, отпльвали в школу ребятишки; на моторке доставляли сюда почту, на баркасе — продукты и товары в магазин. Здешние девушки, верно, грезили о суженом на манер гриновской Ассоль: он мог явиться сюда лишь под алыми парусами. И так характерна была разыгравшаяся на берегу сцена: продавщица бросает ключи от магазина покупателю,

спокойно полагаясь на его совесть; старик не задумываясь покупает приглянувшуюся ему книгу, хотя сам гол как сокол. Такую вот беспечную широту ощущаешь здесь на каждом шагу. Мучаясь язвенными болями, Горин сказал вчера: «Мне бы куриного бульону для желудка хорошо». Работавший поблизости плотник тут же словил молодого петуха и обезглавил. От платы он наотрез отказался, хотя Горина едва знал. Надо еще выяснить, чей это петушок,— пояснил плотник,— да и неизвестно: возьмет ли хозяйка деньги, потребует ли другого петушка взамен, а то, может, и так это дело переживет.

Но, пожалуй, с особой чистотой местный характер воплотился в нашем хозяине, Матвейче. Начать с того, что хозяином избы числился он лишь по старой памяти. Изба давно отошла охотбазе, которая укрепила и капитально отремонтировала ветхое строение. Не было здесь, кажется, ни одной лично принадлежавшей Матвейчу вещи. Свою крошечную зарплату, которую ему платило охотхозяйство, он частично пропивал с охотниками, частично тратил на липкие конфеты для соседских ребятишек, на лавровый лист, перец и соль для общей ухи.

Впрочем, одна вещь, и даже ценная, до недавнего времени у Матвейча была. Он чистил рыбу на темной потрескавшейся доске в чуть приметных золотистых и синих пятнах. Один из приезжих охотников, художник, заинтересовался как-то этой доской. Он потер ее тряпочкой, поскоблил и обнаружил старинную икону суздальского письма. Художник задумал хитро выцыганить ее у Матвейча, но тот, догадавшись о ценности старой доски по алчной заинтересованности гостя, тут же подарил ему икону.

Эта история навлекла на Матвейча кличку «набожный старик». За обедом между Матвейчем и Гориным состоялся разговор на религиозную тему. Припомнив прозвище Матвейча, Горин сказал:

— Встречал я набожных людей, но таких, чтобы на иконе ершей шелупать, еще не попадалось.

— Кабы знал, что вещь ценная, сроду бы себе этого не позволил,— сокрушенно отозвался Матвейч.

— Не в ценности дело, а в святости.— Чашка крепкого куриного бульона настроила Горина на особо нежное, бережное отношение к миру — Сам можешь не верить, но чувства других людей уважай. Мы вон антирелигиозную пропаганду ведем, а ведь церковью не разрушаем.

— С чего ты взял, что я неверующий? — спросил, к общему удивлению, Матвейч.— Я, может, как раз в бога верую, только считаю его подонком и оказываю ему свое презрение.

— Не притворяйся, Матвейч, сам знаешь, что бога нет.

— Хрена два,— как-то слишком серьезно сказал Матвейч,— ты уж бога мне оставь. Есть он, козел, недоумок, пустая башка, а я на него плюю и растираю!

Когда-то Матвейч был другим: рачительный хозяин, уважаемый человек. Он работал председателем сельского совета, но в пятидесятом

году его посадили по доносу. Выйдя через четыре года, он не застал в живых своей старухи. С тех пор, говорят, и стал он беспечным. В отличие от всех реабилитированных, с какими мне довелось встречаться, Матвейч не настаивал на своей невиновности. Я слышал его рассуждение: «За кем ничего не числилось, тому десятку давали, а мне вка-тили пятнадцать. Чего там ни говори, а перед Сталиным я выходил виноватым: многим был недоволен и выражался вслух».

Впрочем, как ни любопытно тут было, я-то приехал охотиться, а не наблюдать нравы. Но вот охотой покамест не пахло...

Над озером творился закат. Вскоре багрянец простерся по затихшей заводи, вода стала густой и тяжелой. Послышался быстро нарастающий шум мотора. Из-под моста вылетела в вишневых брызгах моторная лодка с задраннным носом. Издали казалось, что человек сидит прямо на воде — так низко опустилась корма. Мне подумалось: это Толмачев. Но в лодке не было собаки, а вскоре я узнал мешковатую фигуру егеря Пешкина. Он круто подрулил к причалу и, не сбавляя скорости, врезал нос моторки в песчаную отмель. Оказывается, наскучив ожиданием, он приехал «за дополнительными указаниями». Мы вместе прошли в дом.

Пешкин явился вовремя, чтобы разрядить обстановку. Горин накинулся на него, будто он виноват, что Толмачева до сих пор нет. Впрочем, покидая свой одинокий пост на протоке, Пешкин знал, что его ждет: ему тоже требовалась разрядка. Поэтому он спокойно выслушал брань охотоведа, похлебал холодной обеденной ухи, выпил припасенную для него Матвейчем стопку, истово поблагодарил всех: «Очень вами довольны!» — и отправился восвояси.

— Распустился народ! — говорил после его ухода Горин. — Но ничего, я их подтяну.

Горин работал охотоведом первый год, до этого он был диктором по радио. Страстный ружейный охотник, много лет связанный с охотничьим обществом, он имел за плечами три курса биофака, и когда ему захотелось перебраться поближе к природе, за назначением дело не стало. Радиодиктор никем и ничем не командует; два десятка служащих, оказавшихся под началом у Горина, привели его в состояние легкого, но постоянного головокружения. Крошечное зазнайство Горина с лихвой искупалось его наивностью, добротой, теплом к людям. Здесь его все любили.

Вскоре подоспела уха, пятая по счету в этом доме. Матвейч подал ее в огромной кастрюле и произнес:

— Уж и не знаю, потрафил ли вам...

Я понял, что дело плохо. В первый раз Матвейч стоговил уху надиво: наваристую, остро приправленную, из разной рыбы, чистую, как слеза. Тогда он ничего не приговаривал, скромно подал уху на стол. Вторая уха была похуже: из одних ершей, мутноватая, со слизью, но все же вкусная. Третья была без соли — вода, в которой плавали плохо разваренные костлявые лещи. В четвертый раз Матве

ич вовсе забыл сварить уху, а после разноса, учиненного Гориним, подал с фальшиво смиренным видом остатки предыдущей ухи, разбавленные чуть теплой водой из самовара.

Дурное предчувствие не обмануло меня: из кастрюли вычерпывались острые кости без следов рыбьего мяса, серая мантия щучьей чешуи и вдруг — селедочная голова с веточкой петрушки во рту.

— Хоть вы и набожный человек, — морщась, сказал Горин, — но уха ваша — дерьмо!

— Самая лучшая уха — корейка, — равнодушно отозвался Матвейч, отрезая себе кусок копченой свинины из наших припасов.

Матвейч не считал своим жизненным призванием готовить нам уху и вообще всерьез обслуживать приезжающих охотников. Он делал это скорее из привычного гостеприимства; знакомые стены дарили его обманчивым ощущением, что он тут по-прежнему хозяин; отчасти же из врожденной доброты, широкой готовности услужить людям. С первой ухи он расстарался из тщеславия, желая поразить, но отнюдь не стремился стать для нас завзятым уховаром. Ему было плевать с высокой горы, потрафит он или не потрафит своей ухой, но артистизм одаренной природы побуждал его изображать из себя этакое заботливое хлопотуна. На деле его занимало сейчас совсем другое.

— Кто лучше — Маяковский или Есенин? — спросил он меня.

— Маяковский!

— Есенин! — выстрелили друг в друга Муханов и Горин.

— Оба хороши, — сказал я примирительно.

— А по-моему, так Пушкин... — заключил Матвейч.

Воцарилась тишина, нарушаемая чавканьем да короткой бранью, когда рыба кость впивалась кому-нибудь в десну.

Свечерело. Матвейч стал налаживать висящую над столом лампу «молнию». Лампа потрескивала, будто на пламя сыпались порох, и не хотела разгораться. Матвейч осторожно подкручивал, затем выкручивал фитиль, и странно голубоватый трепетный венчик то, пофыркивая, уходил вглубь, то пытался улететь в стеклянную трубку. Наконец Матвейчу удалось посадить его голубокрылой бабочкой на фитиль. По стенам к потолку протянулись уютные тени.

— Рассказал бы кто анекдотец, — светским голосом сказал Матвейч.

— Битому нейметя, — заметил Муханов.

— Вы набожный человек, наши анекдоты не про вас, — лениво пошутил Горин.

— Давайте лучше чайку попьем, — предложил подполковник. — Матвейч, сочинил бы самоварчик!

— Давным-давно готов...

— Оно и плохо, — сказал Муханов, — поди, остыла?

— На вас не угодишь, — проворчал Матвейч.

...Среди ночи раздался грохот, захлопали двери, порыв ветра взметнул притушенное пламя лампы, и будто сполохом озарилась из-

ба. Пламя выросло и утвердилось в ярком сиянии, послышался милый стук собачьих лап и окрик:

— Куш, Валет, куш!

Я окончательно проснулся и сел на койке. Посреди комнаты стоял незнакомый человек, возле него суетился Матвейч, а вокруг них, поджигая зад, будто собираясь присесть, но в последний миг отдумывая, крутился рослый дратхар: шоколадный с серым, с большой бородатой шоколадной мордой, с печальными, мудрыми, золотыми глазами, поджарый и крепкий, спортсмен и аристократ с головы до ног.

Сперва я увидел пса, уж потом егеря; он медленно стаскивал с себя ружье в деревянном чехле. Человек, ожидаемый столь долго и страстно, не мог показаться непривлекательным, и Толмачев сразу покорила меня. Среднего роста, худой в бедрах и талии и необыкновенно широкий в плечах, на светлой голове красиво, вкось сидела черная охотничья финская шапочка. С левой опущенной руки у него свисала витая ременная плеть. Узкое, бледно загорелое лицо егеря по первому взгляду казалось молодым, но вокруг его серых с просинью глаз легла усталость. Это была усталость, какой расплачиваются за войну, за трудную, непростую жизнь. И все же Толмачев казался человеком свежим и сильным.

Он снял ружье и отдал его Матвейчу, развязал тесемки и скинул плащ-палатку, потом обошел всех нас и с каждым поздоровался за руку. Мне, как незнакомому, Толмачев пожал руку особенно дружески и выразительно, взяв ее в обе ладони. Хоть он и пришел с ночного холода, руки у него были сухие и теплые.

— Небось намучился, товарищ Толмачев? — беспокойно спросил Горин. — Завтрашняя охота отменяется. Будете отсыпаться.

— Из-за меня охоту незачем отменять, — тихим, вежливым голосом отозвался Толмачев. — Мне и трех часов достаточно, чтобы выспаться.

— Ну, а нам рано не выходить! — подхватил Горин. — Пускай тетеревиных набродов побольше будет. Только я вас не неволю.

— О чем разговор? — улыбнулся Толмачев.

...Казалось, меня разбудили прежде, нежели я успел заснуть. За окном еще была черная ночь, а освещенная лампой-«молнией» изба жила деятельной суматошной жизнью. С улицы в избу и обратно мотались егеря, в сенях позвякивал носик рукомойки, весело гудел самовар, стучал лапами Валет, и Толмачев прикрикивал на него: «Тубо, Валет! Куш!», Матвейч звенел посудой, подполковник топал сапогами об пол, уминая в них свежее сено, ворчал на кого-то Муханов и, покрывая все шумы, грохотал Горин:

— На заре охотятся одни пижоны! Чего делать в лесу, когда набродов еще нету?

— А сойдет роса — будут наброды?! — сердито крикнул Муханов.

— Сказал! Роса чуть не до полудня держится...

— Ну так дождик пойдет, смоем следы, — настаивал Муханов.

— Какой еще дождик? Небо чистое, звездами играет. Толмачев, скажи ему: есть толк в лес идти, когда нет набродов?

— Никакого толку,— мягко улыбаясь, ответил Толмачев.

— Да это я и без вас знаю! — надулся Муханов. — Тоже — открыли Америку!..

— Валерик,— проникновенно начал Горин, — а я видел тебя во сне...

— Не разбудила? — слышался свежий женский голос, и в избу заглянула Данилиха.

— Вера Степановна! — скромно обрадовался Толмачев. — Милости просим!

— Показалось мне, будто вы прибыли. — Данилиха вошла, держа в руках большой газетный сверток. — Вот, косточек для Валета захватила...

— Спасибо,— Толмачев взял сверток, заглянул в него, выбрал кость и кинул Валету, остальные сунул в рюкзак. — Как поживаете, Вера Степановна? Самочувствие?

— Да что мне делается? — засмеялась Данилиха. — А вы совсем пропали!

— Работа,— развел руками Толмачев. — В последнее время много гостей из области, да и с Москвы. Охотимся на Легошинском участке, все больше на рябчиков и белую куропатку.

— Да мне-то к чему, на что вы там охотитесь? — снова засмеялась Данилиха, но как-то тревожно и неестественно. — А только друзей нехорошо забывать.

— Спасибо за косточки, Вера Степановна,— тепло сказал Толмачев, притворяя за ней дверь.

— Иван Матвейч! — зывал Горин. — Куда девался набожный старик?

— Да здесь я! — вышел тот из боковухи.

— Иван Матвейч, покорми егерей... Ушицы вчерашней, картошечки... тут вот консервы остались...

— Не беспокойтесь о нас,— сказал Толмачев.

— Я знаю, товарищ Толмачев, вы о себе никогда не думаете,— строго остановил его Горин,— но распоряжаюсь охотой я. А у меня принцип: прежде всего чтобы люди были сыты, потом все остальное.

Толмачев улыбнулся и отошел в сторону.

— Иван Матвейч,— снова обратился Горин к старику,— сейчас, повторяю, накормите егерей, затем охотники попьют чайку — и в путь! К десяти часам вам быть в Щebetовке, с готовой ухой...

— Вот уж Демьянова уха! — взорвался Муханов. — Мы что, приехали охотиться или уху трескать? На кой дьявол потащится он в Щebetовку?

— Молчи, Валерик, сейчас ты сытый, а находишься по лесу, возмечтаешь об ушице.

— Что ее, там нельзя сварить?

— Может рыбы не оказаться.
— Эка невидаль! Пошлешь щebetовского егеря — он в два счета набóтает.

— Нет, Кретову ботать не придется, он нас в лес повезет на подводе.

— Сами, что ль, не доедем?

— У него лошадь с норовом, другому не управиться.

— Кретов сам не больно управляется, — заметил Матвейч, подавая на стол кастрюлю с ухой.

— Матвейч! — В открытом окошке появилась голова Данилихи. — Ты давеча насчет лаврового листа интересовался. Я принесла.

— Спасибочки, а нешто я интересовался? — равнодушно сказал Матвейч. — Сколько с меня?

— Да ладно копейками считаться! — Свежие скулы Данилихи пламенели. — Слышу, опять рыбу заказали, — значит, без лаврового листа не обойтись.

— Валет за косточки вас благодарит, — Толмачев подошел к окну, нагнулся и пожал Данилихе локоть.

— Будет вам! — и Данилиха скрылась.

Когда мы собрались в путь, начало светать. Заря занималась тихо и бескрасочно. Небо, чистое и звездное всю ночь, затянуло, вода слегка курилась, в какой-то тусклой белесости подступало утро. Мы распределились по лодкам. В большую лодку сели Горин, Толмачев с Валетом и я. Горину очень хотелось быть вместе с Мухановым, но тот, злясь на поздний выезд, нарочно прыгнул в другую лодку.

— Чудак Валерик, — сетовал Горин, — неужели на «Стреле» лучше плыть, чем на «Москвиче»? Вот увидите, как они отстанут...

Поначалу вышло иначе. «Стрела» завелась сразу и, медленно развернувшись, скрылась в тумане. Наш же «Москвич» тупо не поддавался усилиям Толмачева.

— Небось пересосал? — тоскливо предположил Горин.

Толмачев вытащил мотор из воды и снял крышку.

— Ясно, на свечах пуд грязи.

— Сдеру шкуру с Пешкина, — пообещал Горин.

— Это лишнее, — своим мягким, успокаивающим голосом сказал Толмачев. — Сейчас всё наладим.

С того момента, как «Стрела» скрылась в тумане, Валет, сидевший рядом со мной на скамейке, не переставая дрожал. Он тоскливо поворачивал морду на затихающий вдали шум мотора, втягивал ноздрями воздух и едва слышно поскуливал глубиной горла. Бедняга Валет боялся, что охота состоится без него, ему невдомек было, что все предприятие, именуемое «Показательным охотхозяйством», со всеми лесными угодьями, гостиницей и охотничьими домиками, с заказниками и питомниками, с многочисленным штатом егерей и других служащих, опирается на его худенькие ребра.

Туман за клубился гуще, плотнее, на какие-то минуты скрыв простор, ватем, как обычно бывает, стал стремительно редеть. Но он еще

уносился к берегу серебристыми хлопьями, застревая в тростнике и лозинах, когда на мостках явилось, будто родившись из тумана, тонкое, долгое существо. В серебре засмуглело, вычертилось обнаженное тело девушки с красной полоской ситца на бедрах. Крест-накрест прикрыв руками грудь, девушка шагнула с мостков в воду. Приняв ее, вода беззвучно сомкнулась над ней.

Но вот последние хлопья тумана улетели ввысь, в слабую проголубь раннего неба. Оглушительно громко взревел мотор и, словно задушенный, стих, перейдя на малые обороты. Совсем рядом послышался девичий смех. Держась рукой за борт лодки, в воде стояла Люда, Данилихина дочка. Вода доходила ей до плеч: тут было мелко; видимо, девушка опустила на колени. Она подымала кверху лицо, чтобы не глотнуть грязноватой пены с волны.

— Дядя Тим, возьмите меня с собой!

— Баловница! — ласково сказал егерь. — А ну-ка брысь, резанет винтом — отвечай за тебя!

— Я на буксире поплыву, — продолжала игру девушка. Но егерь прибавил оборотов, винт яростно вспенил воду, и моторка, отбросив руку девушки, с силой устремилась вперед.

— Дядя Тима-а!.. Приезжайте!.. — донеслось до нас.

На плесе Могучего мы нагнали и обошли первую лодку.

— Теперь опять начнутся обиды, — грустно сказал Горин. — А кто виноват? Я же звал Валерика. Но он и в армии отличался таким же упрямством, мы с ним всю войну вместе прошли. Он был начальником связи дивизии, я работал в штабе. И в госпиталь угодили вместе после Курской дуги. Только у него было пулевое ранение, а меня осколком мины жигануло. Мы с ним на соседних койках лежали и все время спорили, нас даже хотели по разным палатам развести. Насилу отговорили. После мы все наши споры ночью решали. Сделали трубки из газет и шепотом переругивались. Но он мужичонка отходчивый, ему только польсти...

Совсем распогодилось: чистое небо, чистая светлая вода, чуть колеблемая ветерком. На большой скорости мы вошли в блекло-зеленый, очень густой тростник и, хрустко ломая стебли, стали углубляться в озерные джунгли, где сразу потеряли из виду вторую лодку. Перед самым носом Валета со стебля на стебель нахально перелетали зеленовато-желтенькие тростянки. Валет вздрагивал и жалобно заводил на егеря золотой зрак.

Не меньше двух километров плыли мы сквозь эту заросль, и лишь раз Толмачеву пришлось поднять из воды мотор и освободить запутавшийся в стеблях винт. Наконец мы вошли в тихую реку, лежавшую в ровных, низких, плоских берегах; казалось, это вовсе не река, а искусственная протока.

— Ну вот, а их все нет, — опять принялся за свое Горин. — Не мог же я, в самом деле, в тихую реку сесть... Валерику что, он гость, а я организатор охоты.

Он велел Толмачеву выключить мотор и ждать наших спутников. Горин немножко играл в свою новую должность, в нем не было еще тишины и усталости всерьез служащего человека.

Вскоре показалась «Стрела», Муханов сидел на передней скамейке, зажав ружье между худых колен.

— Валерик,— сказал Горин,— ты бы лучше разрядил ружье.

— Что я, мальчик? Не умею с ружьем обращаться?

— Умеешь, а только тетерев — не водоплавающая, зачем даром правила нарушать?

— Не нуди! — Муханов, сломав ствол, поймал в ладонь выброшенные инжектором патроны.

Мы пропустили «Стрелу» вперед и пошли впритык за ее кормой. С берегов над водой нависали мохнатые от росы травы, немного отступя сидел запотелой хвоей сосновый редняк, растущий на красно-ватых мхах. Моторы работали на малых оборотах, и сквозь их негромкий рокот отчетливо слышалось тетеревиное чужырканье. Удивительно странны были звуки весенних брачных рассветов посреди осени, и я не поверил им, решив, что это слуховая галлюцинация. Но характерный, волнующий тетеревиный фырк все колебал горько пахнущий осенью воздух, он был не столь громким, бравурным, не столь ликующим, как весной, в нем звучали печаль и покорность, и все же разве спутаешь с чем другим на свете любовное бормотание косачей?

— Ишь, молодняк токует,— заметил Горин,— значит, их и осенью любовь томит.

— Да без толку,— добавил Толмачев.

По берегам все чаще стали попадаться рыболовы: молчаливые, недвижимые, в огромных залубневших брезентовых плащах, они склонились над своими удочками, одревеневшие от ночной стужи и не заметившие даже прихода утра. Из-под капюшонов вослед нашим лодкам скашивался недобрый взгляд, но ни один не шевельнулся, не переменил позы, не отвел душу ругательством. Чем-то тяжелым, давящим веяло от них, и я обрадовался, когда берега вновь заяснили безлюдьем.

Справа сосновый редняк на мхах стал удаляться в глубь берега, круто отворачивать от реки, а вперед выдвинулись молодые заросли ивняка. Меж ними и рекой оставалась узкая луговина, поросшая очень густой, росистой — сплошь жемчуг и серебро — травой. Левый берег поднялся над водой медно-песчаной кручей закурчавился тоненькими, еще совсем зелеными березами, а по ходу лодки на нем стали высокие мачтовые сосны, их кроны озаряло еще скрытое от остальной природы солнце.

И вот с луговины правого берега из-под самого нашего носа, с шумом, вначале пугающе-громким, а затем сладким, невыносимым, сводящим с ума, один за другим, черные и здоровенные, как китайские свиньи, прекрасные, как мечта, к верхушкам дальних сосен за пределы выстрела перелетели восемь тетеревов: цельный, неразбитый вы-

водок! Это не было кратким видением, что длилось долго-долго, как пытка, испепеляя душу. Я видел со всей ясностью великолепных тяжело разъевшихся, медлительных птиц, но одновременно и отчаяние Муханова: сперва он растерялся и только бросал на Горина беспомощные и негодующие взгляды, затем стал рвать из пояса патроны и совать их мимо стволов. Видел я и судорожно оцепенелого, с мордой кверху Валета, жалкую улыбку на лице подполковника, вслед за тем я уже ничего не видел, а, подобно Муханову, ронял в воду патроны, силясь зарядить ружье. Я успел вогнать только один патрон, когда последний черныш скрылся за деревьями. В досаде я выхватил патрон прочь, и тут же метрах в пяти из травы поднялся и ушел берегом бекас. Неудача отпраздновала свой самый пышный праздник.

— «Зачем даром правила нарушать» — так вы изволили сказать, товарищ Горин? — с непередаваемым выражением произнес Муханов.

— Есть о чем жалеть! — с нарочитой беспечностью отозвался Горин. — Еще настроляешься за милую душу! Верно, товарищ Толмачев?

Толмачев ответил вежливой далекой улыбкой. Похоже, он не только не слышал вопроса Горина, но и внимания не обратил на всю эту кутерьму...

...Щебетовка, куда мы прибыли уже в расцвете теплого, обещающего стать жарким утра, беспорядочно, но красиво раскинулась по бугристому и овражистому взлобку, буйно заросшему лозняком. Ивы, не довольствуясь прибрежным краем деревни, проникли во все проулки, во все дворы и палисадники. Их ветви в темных узких листьях склонялись на мшистые тесовые крыши, лезли в окна, а с десятков могучих, древних, невиданно рослых ив возносились вровень с белой колокольней прекрасной, полуразрушенной церкви.

Излучина реки привела нас к огороду местного егеря Кретова. Мы врезали лодки в мягкий глинистый берег и по картофельным, уже обобраным грядкам поднялись к дому. Видимо, Кретов приметил нас из окошка, он выкатился навстречу на коротеньких ножках, коренастый, большоголовый недомерок. За ним появилась жена, рыхлая женщина, в расплывающейся на большой груди шелковой кофточке. Наш приезд, в котором по охотничьему сезону не было ничего неожиданного, поверг ее почему-то в горестную растерянность. Она произвольно взмахивала полными руками, губы ее шевелились, равно готовые к улыбке и к всхлипу, и роняли чуть слышно: «Господи... боже мой... воля твоя... да надо же!». В глазах, наполнившихся слезами, испуганная одурь перемежалась робкой надеждой, что все еще обойдется.

— Привет! — выпалил, подходя, Горин.

— Здравьте! Боже ты мой... — пролепетала она.

— Ларисе Петровне — доброе утречко, — проговорил своим мягким, печально-вежливым голосом Толмачев и принял в две ладони протянутую ему руку.

— Здравствуйте, Тимофей Сергееч! — радостно отозвалась Кретьова, бледные, обвисшие щеки ее порозовели. — Как поживаете?

— Живем не тужим, ожидаем хуже, — улынулся Толмачев.

Появление Толмачева подействовало на Кретьову благотворно: взгляд собрался, успокоились губы, молодо налился звучный, певучий голос. Лишь раз вспыхнула давешняя смятенность, когда Горин сказал ее мужу:

— Запрягай, товарищ Кретов, мы рассиживаться не намерены.

— Да ведь Ольгу спытать надо! — испуганно вскинулась Кретьова. — Господи!.. Кобылку нашу непутевую!.. Она на лужайке пасется, экая беда!..

— Поймаем, Лариса Петровна, чего вы беспокоитесь? — Толмачев деликатно коснулся ее руки.

— И верно, чего это я, глупая? — засмеялась Кретьова.

Мы подошли к крыльцу дома. Кретов снял с гвоздя оброть и вместе с Толмачевым направились на близкое клеверное поле, проросшее по стерне розовой кашкой.

Из дома вышел серый, черномордый спаниель. Хромая, приблизился к плетню, попытался вскинуть заднюю лапу, но, не устояв на трех израненных подпорках, заменил благородный и мужественный обряд щенячьим приседанием. Когда спаниель заковылял назад, к нему гоголем, выгнув шею и высоко вскидывая лапы, подбежал Валет и стал взволнованно обнюхивать, будто видел его впервые. Спаниель терпеливо выдержал осмотр, но ему, видимо, было так плохо, что, не оказав Валету ответной любезности, он тяжело перелез через порог и улегся в сених на подстилку.

Между тем Кретов, успешно подобравшись к Ольге, накинуд оброть, но кобыла тряхнула головой и легко сбросила уздечку. Она покскакала прочь, а за ней, радостно похохатывая, загарцевал козлиным галопцем рыжий жеребенок. Кретов подобрал уздечку и снова покатился на своих коротких ножках вослед кобыле. Ольга подпустила его близко, затем снова отбежала, ее черная грива красиво развевалась. Трудно сказать, долго бы длилась эта игра, но Толмачев, подобравшись под прикрытием лозин к жеребенку, ловко поймал его и заломил ему репеек. Ольга примчалась на жалобный крик сына и была схвачена за челку сильной рукой егеря. Пока ловили Ольгу, Пешкин выкатил из сарая телегу, набил ее сеном, принес сбрую. Он помог Кретьову запрячь норовистую кобылу, и Горин скомандовал:

— По местам!

Как обросла наша скромная охота людьми и снаряжением! Приехали мы вдвоем с Мухановым, но уже в гостинице к нам в компанию напросился подполковник. Поначалу нам определили для обслуживания егеря Пешкина и моторку, но Горин из дружбы к Муханову решил самолично возглавить охоту. Экспедиция обогатилась еще одной моторной лодкой. Дальше подключился Матвееч со своей рассеянной заботой; наконец, главные участники — Толмачев с Валетом. Те-

перь прибавились еще егеря Кретов, кобыла Ольга, рыжий жеребенок и большая безрессорная телега...

И вот мы все уселись в телегу с удобными плоскими грядками, Кретов подобрал вожжи, причмокнул, Лариса Петровна горестно всплеснула руками, Ольга, поднатужившись, стронула воз и легко затрусилась под уклон проулка. Рядом с ней загарцевал жеребенок, то толкаясь ей в бок, то подлезая под морду и мешая рабочему усилию матери. Мы миновали церковь и старые ивы, заросший погост с одним высоким черномраморным крестом, торчащим из таволги и дикой малины, пустынный колхозный двор — все ушли на уборку картофеля, — магазин с огромным ржавым замком на обитой железом двери и въехали в горьковатую сумеречную прохладу лесной просеки. Пахло грибами, еще живыми соками растений и начинающимся гниением, пахло крепко, терпко,пряно, как из винного подвала.

Телега подпрыгивала на корнях, заваливалась в колдобины, и тогда ко мне сильно прижималось теплое, трогательно костлявое тело Валета, сидевшего за моей спиной. Бессильный, как и всякий пес, сопротивляться инерции, он даже не замечал своих полупадений. Он всем существом был в лесу, в клубке запахов, который нужно распутать, его влажные ноздри то округлялись, то стягивались ромбиками, лоя перенасыщенный тревожными приметами воздух, а кожа над золотыми патетическими глазами собиралась в складки, как морщины на челе мыслителя. Порой в суженьях просеки к моим коленям приваливался жеребенок, зажатый между стволами деревьев и телегой, и тогда можно было беспрепятственно трогать его жесткую морду с нежной мякотью храпа, щеточку бородки и мгристо-сторожкие теплые глаза. Солнце прорывалось сквозь густые заросли, и успокоительно вспыхивала роса, хранильница набродов, но мне думалось: пусть мы даже ничего не подстрелим, все равно будь благословенна наша поездка со всей этой доброй близостью к милому зверью и последним дням уходящей в долгий сон природы.

Так и вышло — охотничье счастье не улыбнулось нам...

С ружьями наперевес мы терпеливо вышагивали в установленном Гориним порядке опушку леса, кольцом охватившего широченную поляну. С детским доверием, в каждоминутном ожидании чуда, следил я за всеми движениями шедшего справа от меня Толмачева. Он раздвигал ветви, и все во мне замирало: вот оно!.. Но Толмачев спокойно шел дальше и вдруг скрывался в какой-нибудь пади или овраге, и я мчался к нему, спотыкаясь о пни и валежник, увязая в буреломе, забившем проходы между деревьями. Но мой порыв неизменно разбивался о рассеянно-мягкий взгляд егеря. Кажется, раз пролетела тетерка, затянув всю нашу цепь в кочкарник, где идти было мучительно вязко. А потом мне показалось, что впереди мелькнула крупная, темная птица, и меня так долго расспрашивали о ней, называя приметы тетерева, что под конец я и сам уверовал, будто видел косяча.

А когда чудо действительно пришло, я не угадал его в будничном обличье. На меня вдруг надвинулись из чащи Горин и Муханов, за ними вразвалку шагал Пешкин, и мне показалось, что они хотят занять мое место возле Толмачева.

— Вы чего? — сказал я с обидой.

— Как чего? Валет стойку сделал, — спокойно отозвался Муханов.

Я оглянулся: Валета не было видно, но возле разлапистой ели, с краю лесной полянки, замер, подавшись вперед, Толмачев. Я хотел кинуться к нему, но меня остановил Горин:

— Не торопитесь, посылка не было. Успеете даже папироску выкурить.

— Вот бы когда ухи похлевать, — заметил Муханов. — Зря не приказал ты Матвейчу подать сюда ушицы...

— Не догадался, — добродушно усмехнулся тот.

Толмачев, не оборачиваясь, жестами велел нам становиться справа и слева от него.

— Пошел! — произнес он негромко.

Невидимый Валет, наверное, выполнил приказание, потому что Толмачев, чуть кивая головой приговаривал: «Так... так... еще пошел!..»

Из-под елок на краю полянки что-то с шумом выпорхнуло и полетело прямо на меня, не черное и не такое большое, как ожидалось. Я выстрелил, рыжебурая птица упала за кусты. Мы кинулись туда. Растопырив крылья и сильно отталкиваясь ногами, птица перебежала прогалину и раньше, чем кто-либо успел прицелиться, скрылась в суховершнике.

— Коростель! — крикнул Горин. — Валет, Валет!.. Ищи!

Тщетно обнюхивал Валет кусты, тщетно кидался то в одну, то в другую сторону, совал морду за бурелом — коростели как не бывало. Что-то жалкое было в суетне Валета, и Муханов заметил подошедшему Толмачеву:

— А он у вас на подранков не больно натаскан...

Толмачев будто не расслышал, он поймал Валета за ошейник.

— Куш!.. Тихо!..

Пес дрожал и ошалело сиял золотыми глазами.

— Этого подранка на реактивном не догонишь, — сказал Горин, — дробь по перу хлестнула, а ты знаешь, как коростель бегаёт?

— Да знаю! — отмахнулся Муханов.

До конца охоты Валет еще дважды делал стойку. Первый раз — на какую-то мелкую птичку, вроде королька, другой — на грудку окровавленных тетеревиных перьев возле горелого пня.

— Браконьер? — яростно крикнул Горин егерю Кретову.

— Ястреб, нешто не видите, — побледнев, ответил тот.

И почти сразу вслед за тем и охотники и егеря, не сговариваясь, вышли из леса на край поля. Мы почти замкнули круг, но все же с

полкилометра не дошли до телеги, возле которой паслись стреноженная Ольга и жеребенок. Прогалистый лес впереди по кругу был черным, обуглившимся после недавнего пожара, и делать там было нечего...

Мне очень отчетливо представился весь наш путь из Москвы сюда: двести веселых километров асфальтового шоссе и пятьдесят большака, страшного, как в Приволховье военной порой; двадцать километров болтанки по целине в грузовике-вездеходе от гостиницы охотбазы до протоки; ночное плавание по узкой протоке на моторке с карманным электрическим фонариком, его свет расплывался о голубой туман, и лодка поминутно тыкалась носом то в берег, то в оторвавшиеся от плавунного берега куски, поросшие лезвистой лещугой; мне вспомнилась бобриная плотина, на которую мы взлетели с разгона и провисли над водой, пока общими усилиями не перевалили лодку на другую сторону, и долгое, томительное ожидание Толмачева в Коношкове, и поездка сюда с заведомым опозданием под уютную ворчбу Горина, и досадно упущенный на реке тетеревиный выводок, первый и последний в нашей охоте. И после всего этого до чего же печально-смехотворен в своей краткости был лесной проход — венец наших долгих усилий!

Мы медленно побрели краем поля к телеге, впереди охотники, позади егеря. И то ли на самом деле, то ли мне казалось, будто всем было чего-то совестно.

— Может, егеря приберегают выводки? — тихо сказал подполковник.

— То есть как это? — с наигранным простодушием спросил Горин.

— Да очень просто: тут же граница ваших владений, — значит, бродяк поблизости вольные стрелки. Им только укажи неразбитый выводок — скупиться не станут.

— Это вы бросьте! — Горин справился с минутной слабостью: предположение подполковника снимало с него ответственность за неудачу. — Не такие у нас люди...

— Ну и хвалить их тоже нечего! — вдруг рассердился подполковник. — Валет-то испорчен! Хорошо же его воспитали, если собака на любое дерьмо стойку делает!

— А Толмачеву до этого как до лампочки! — поддержал Муханов.

— Ну вот, договорились! — всерьез расстроился Горин. — Кого хотите ругайте: Кретова, Пешкова, меня самого, но Толмачева оставьте в покое.

— А что он за серебряный такой?! — вскипел Муханов. — Собака классная, а работает плохо!..

— А такой, — перебил Горин, — что если тебе половину пережить, что ему выпало, ты бы на полусогнутых ходил. А Толмачев — как солдат, всегда точен, исполнительен, собран... Нет уж, как хочешь, а Толмачева не трогай!

— Ладно, бог с ним,— сказал Муханов, которого занимали настоящею лишь счеты с Гориним.— Егеря ни при чем, раз тетеревов в помине не было. Говорил я, что поздно выезжаем, так и вышло: тетерева в крепь ушли, вот и весь сказ!

— Да ведь хотелось, чтобы побольше набродов было, — жалобно, признаваясь в своем поражении, пробормотал Горин.

— Слушайся старших другой раз! — невеликодушно заключил Муханов.

Торжество над Гориним доставило ему такое удовольствие, что он перестал жалеть о неудачной охоте. Широко отверзая прокуренную желтозубую пасть, он улыбался огромной и страшной улыбкой сытого людоеда.

Колобком подкатил егеря Кретов.

— Товарищ Горин, мы по мхам пройдем,— может, чего подыдем?..

— Валяйте, ребята,— добрым голосом сказал Горин,— не возвращаться же пустыми!

Я обрадовался: мне казалось, что этим предложением они сразу отводят прочь все досужие и несправедливые домыслы на их счет.

Мне нравились егеря: и большой, покорный Пешкин, и быстрый, радостно-готовый Кретов, и особенно — тихий, вежливый, погруженный в себя, печально-загадочный Толмачев. И неприятно было, что, пусть с досады, только что подверглись сомнению их честность и профессиональное умение.

— Не устали, товарищ Толмачев?! — крикнул Горин.

Толмачев сперва не расслышал, но когда Горин повторил вопрос, он тихо улыбнулся и слегка расправил покатые сильные плечи. И снова почувствовалось, какой он неустанный, свежий человек. В последний момент Муханов заявил, что идет с егерями. Победа над Гориним одарила его ощущением могучей жизненной силы, он и слышать не хотел ни о каких трудностях. Мхи, непролазь — чепуха! Привет, слабая команда! И Муханов зашагал журавлиным шагом вслед за егерями через лес на мшару.

Вернулся Муханов раньше своих спутников, без ног и без сердца. Мы валялись на траве в тени телеги. Он молча опустил на землю, достал трубочку с валидолом, сунул под язык белую лепешку, закинул руки за голову и смежил веки.

— Могу предложить нитроглицерин... — сказал Горин.

— Пошел вон! — сумрачно донеслось из-под грустно поникших усов.

Вскоре вернулись и егеря, пустые.

— Мошника одного подняли,— сказал Кретов,— да больно далеко...

— Ужас, до чего тяжело по мхам ходить,— застенчиво улыбнулся распаренный, мокрый Пешкин, поглядывая на свои толстые ноги.

Это замечание вернуло бодрость Муханову, он открыл глаза и сел, опираясь на руку.

— Я знал, что это пустой помер,— нешто его сейчас из крепки выгонишь!

— Ты потому и вернулся? — спросил Горин.

Там, где дорога входила в лес, стоял небольшой домик лесничего с резными наличниками и голубыми ставнями. Проезжая мимо этого нарядного домика, мы увидели на коньке крыши недвижимую, как изваяние, хищноклювую птицу. Правду говоря, я поначалу решил, что это — резная деревянная фигурка, водруженная лесничим на крышу для украшения, но егерь Кретов сердито сказал:

— Тетеревятник, зараза, ишь, до чего обнаглел!..

— Возле пня — небось его работа! — добавил Горин.

Ястреб-тетеревятник сидел, тесно прижав изогнутый клюв к крутой сильной грудке, когти железных лап впились в свежий тес, замерший взгляд прикован к далекому лесу. Быть может, он видит и далее, за лес,— мшарник, где в крепких местах схоронились тетерева?..

Муханов выругался и потянул с плеча ружье.

— Валерик, очнись, стрелять по жилью!.. — накинулся на него Горин.

— Дай я хоть этого гада убью!

— Опомнись! Ребята, отберите у него ружье!

Словно ведая об охраняющем его законе, ястреб даже не повернул в нашу сторону головы. Спокойствие, с каким он служил своей цели, было исполнено презрительного высокомерия ко всему окружающему.

— Ладно вам! — отмахнулся от егерей Муханов.— У меня же четверка, стрелять без толку.

— На таком расстоянии его разве что двойкой возьмешь,— заметил Кретов.

— Да и то как попасть,— вставил подполковник.— Тетеревятник на редкость к дробе крепкий...

В Щебетовке нас поджидал Матвейч с готовой ухой. Горин зачерпнул золотистой жидкости, попробовал, почавкал губами.

— Никак из одних карасей?

— Ну и что же? — обиделся Матвейч.— Карасевая ушица — гостиная еда.

Обида Матвейча имела основание. Его артистическую душу увлекла эта «выездная» уха, и он после долгого небрежения расстарался на славу. За обедом мы все дружно отдали дань его мастерству, и старик снова повеселел.

К концу обеда началась какая-то суетня. Куда-то выбегала и вновь появлялась раскрасневшаяся, встревоженная Кретова. Матвейч со странной поспешностью выметнулся из-за стола и уж не вернулся в избу. Потом Кретова стала подавать Толмачеву от порога зовущие знаки, но тот холодно поглядел на нее и принялся скручивать папиросу.

В избу вошла женщина в темном шерстяном костюме и белой блузке, голова повязана толстой, домашней вязки, шерстяным платком. Она опустила платок на плечи и, чуть наклонив русую седеющую голову, тихо сказала:

— Здравствуйте!

Мы отозвались вразнобой.

— Зачем приехала? — спросил Толмачев. Его лицо будто подернулось ровной розовой пленкой, жестко затвердели губы.

— Поговорить нужно, Тимофей Сергеич... — со слабой улыбкой произнесла женщина. — Не выйдете со мной?

— Я на работе, — сказал Толмачев. — А поговорить и тут можем...

— Располагайте собой как знаете, товарищ Толмачев... — начал Горин, но осекся под холодным взглядом егеря.

— Присаживайся, рассказывай, тут все свои...

Этой фразой Толмачев как-то странно обаял нас присутствовать при его разговоре с женой — я уже понял, что это его жена, хотя она обращалась к нему на «вы» и по имени-отчеству.

Женщина легкой походкой обошла стол и села возле мужа, сложив руки на коленях. Молодость застенчиво пробивалась сквозь ее уже пожилой облик внезапным румянцем, улыбкой. Прежде она, наверное, была хороша: смуглая, сероглазая, круглолицая.

— Значит... Аннушка расписалась, вы должны назначить, когда свадьбу играть.

— Уже расписалась? — Чело егеря словно притуманилось.

— Да нешто не знаете? — испуганно спросила женщина. — Мы вам все отписали.

— Когда письмо послано?

— С неделю будет. Я потому и приехала, что ответа не было.

— На контору писали?

— На контору. Куда же еще?

— Тогда понятно, я шестой день оттуда. Раньше праздников мне не выбраться. Давай на седьмое или на восьмое.

— Решайте...

— Ну, на восьмое. Я потом отпишу, время есть.

— Может, сейчас... коли уж я здесь... — она болезненно улынулась.

— Сказано, отпишу, — ровным, слишком ровным голосом повторил егеря.

Женщина потупилась. Я с удивлением обнаружил, что строгий, почти жестокий тон егеря не вызывал неприязни к нему, скорей сострадание. Чувствовалось, что он дорого оплатил это свое право на холодность.

— Соскучились ребята за вами, — проговорила женщина. — Чего им велите передать?

— Поклон передай... И чтоб учились хорошо.

— Дневник смотреть будете?

— Конечно.

Она нагнулась, достала из сумки школьный дневник, обернутый в белую бумагу, и протянула Толмачеву. Он медленно стал листать его.

— Геометрию Вовка выправил?

— Выправил, как же! — поспешно сказала женщина. — И тригонометрию подтянул. Мария Владимировна, математичка, его хвалила... И даже немка Прасковья Ивановна очень им довольна... Тимофей Сергееч, — сказала она, вдруг осмелев, — может, до праздников выберетесь? Ребята правда очень соскучились!

Толмачев покачал головой, поставил свою подпись и вернул дневник жене.

— Так мне идти? — сказала она.

Толмачев прошел в угол избы, достал из рюкзака завернутые в газету косточки.

— Валет!

— Обождите до завтра, — сказал Горин женщине, — вместе поедем.

Она поглядела в сторону мужа и вдруг вся заторопилась: жестами, ресницами, короткими улыбками.

— Да что вы! Мне надо челнок рыбакам вернуть. Я же с Пожанынки попутной добралась. — Говоря так, она поспешно прятала дневник в сумку, одергивала юбку, повязывала платок. — Оттуда удобно, автобус до самого Дубникова идет, а там до города хоть поездом, хоть другим автобусом, хоть... — она улыбнулась с жалкой женственностью, — хоть на такси. До свиданья всем! Ни пуха ни пера!

В дверях она остановилась.

— Не проводите? — спросила мужа.

Толмачев не отозвался, он выбирал косточки и бросал Валету. Пес с громким хрустом разгрызал здоровенные мослы.

Женщина вышла из дома. В окно было видно, что к реке она спускалась в сопровождении Кретовой и Матвеича. Кретова в чем-то убеждала Толмачеву, та не отвечала, упрямо наклонив голову. Кретова махнула рукой и с плаксиво-сердитым видом пошла назад. На берегу Толмачева и Матвеич о чем-то поговорили, она будто насильно взяла повисшую вдоль тела руку Матвеича, пожала и вошла в густой ситник. Отсюда челнока не было видно за скосом берега, а вода проблескивала сквозь траву, и казалось, что Толмачева стала на воду. Матвеич нагнулся, толкнул невидимый челнок, тот заскользил вдоль берега, и Толмачева, возвышаясь над ситником головой и плечами, будто плавно пошла по воде в свой крестный путь.

Покормив Валета, Толмачев вышел из дома. Вскоре за ним последовали и Горин с Мухановым. Подполковник задремал, откинув голову на деревянную спинку самодельного дивана. Появился Матвеич, собрал кастрюли, посуду, ножи, ложки и тоже вышел, пропустив в избу Кретову.

— Тяжело Катерина свой грех искупает! — Кретова прикрыла веки, и на розовую дряблость щек из каждого глаза выжалось по слезинке.

Я спросил ее, в чем грех Толмачевой.

— Нешто не знаете? — Кретова так удивилась, что печаль и сочувствие разом потеснились ради более живых и энергичных чувств. — Он ее застал!

— С другим, что ли?

— Ну да! — Кретова заговорила быстро, боясь, видно, что нам помешают. — Она похоронную на него получила, а он живой был, только в плену. После его из плена освободили, проверили и в сорок восьмом выпустили. Приехал он рано утром и под окна пришел — у них свой дом в городе. Заглянул в спальню и увидел две головы на подушке. Он все утро выматривал, а после в дом для приезжих пошел. Там его признали и Катерине донесли. Она прибежала без памяти... Сожитель ее, ихний сосед, из инвалидов войны, в тот же день свой домишко заколотил и уехал незнамо куда. Тимофей Сергеич в семью вернулся, на работу поступил. Стали жить, после у них парень родился, Вовка. Старшая дочь к отцу привыкла, а Катерина уж и не знала, чем вину свою искупить. А какая у нее особенная вина? И всежки не сладилось у них. Так все тихо, мирно, но не мог Тимофей Сергеич чего-то в себе пережить, стал отлучаться надолго. На целину ездил, в Сибирь, а когда завели тут охотхозяйство, в егеря пошел...

— Значит, любит он ее? — спросил я.

— Кабы не любил, чего же ему и себя и ее мучить? Вы бы поглядели на Катерину годков пять назад — каштан девка, а нынче съезжилась... Она и давеча жаловалась: хоть бы, говорит, устарели мы скорей, стал бы он ко мне равнодушен...

В разговорах с Кретовой я упустил важные события. За это время резко упал барометр, — по мнению егерей, к ночи надо ждать дождя. Это ставило под сомнение нашу завтрашнюю охоту, и Горин решил, что следует вернуться в Конюшково. Если же паче чаяния дождя не будет, мы приедем опять. А тут и с ночевкой худо, и рыбы для уха не достать, и в магазине нет горючего. Матвейч уже перенес в лодку посуду, ружья, плащи и прочее снаряжение.

— Ну, а чего не едем? — спросил я Горина.

Он покурил на скамеечке возле дома, напротив примостился на деревянной колоде Муханов, рядом, на корточках, Пешкин. Вид у них был праздный и томящийся.

— Поедем, скоро поедем... — успокоительно произнес Горин.

— Что же нас держит?

Горин нахмурил густые брови и кивнул головой куда-то вправо. Я увидел лежащего на спине под копной сена Толмачева. Глаза его были закрыты, но, похоже, он не спал. Рядом Валет ожесточенно грыз из лапы репей или клеца.

Егерь Кретов принес из сарая связку когтистых птичьих лап. Это были лапы ястреба-тетеревятника. Я взял лапу и провел ею по тыльной стороне кисти,— даже при этом легком прикосновении острейшие когти вспороли кожу. Трудно было представить себе более совершенное и страшное орудие убийства, чем эта четырехпалая лапа, с мощной, в дециметр, плюсной, покрытой твердыми щитками,— она и мертвая застыла в хватательном движении.

Горин пересчитал лапы и сунул в ягдташ.

— Тебе сколько до нормы осталось? — спросил он Кретова.

— По воронам выполнил, а по ястребам самую малость не дотянул.

— Поднажми, к празднику получишь деньги.

Подошел Матвейч и поинтересовался, чего мы канителиться. Горин снова многозначительно кивнул вправо.

— Семеро одного не ждут,— сказал Матвейч.— Тогда я без вас поеду.

— Еще чего, мы же возьмем ваш челнок на буксир!

— А кто его знает, сколько он тут прохлаждаться будет! Я на весле скорей доберусь.

— Сразу видать, набожный человек,— укоризненно сказал Горин,— чуткости вам явно недостает.

— Может, у меня ее больше, чем надо,— мрачно проговорил Матвейч.

Толмачев провел рукой по глазам, медленно поднялся, отряхнул одежду и подошел к нам.

— Какие будут распоряжения? — улыбаясь, спросил он Горина.

— Никаких, мы вас ждали. Возвращаемся на базу.

— Валет! — крикнул Толмачев.— Сюда!

Среди дня стало припекать. Мы скинули куртки, комбинезоны, шерстяные фуфайки и наслаждались последним солнечным теплом. Торопиться было некуда; выключив моторы, мы двигались по течению. Наступили часы бесклевья; рыбаки, прибрав удочки, сидели вокруг костров. Над берегами струился дым, пахло подогретыми мясными консервами и остро приправленной ухой.

Когда вдали показалось Конюшково, облака и вода зарозовели от заходящего солнца, лесное окружье простора почернело. Ничто не предвещало дождя, все приметы указывали на ясную, ветреную погоду.

С каждой минутой небо на западе раскалялось все жарче, по блистающей воде простерлись широкие багровые, изумрудные и желтые полосы, края облаков словно кровоточили. И вдруг все как-то странно, непонятно смазилось. Незримая ни очертаниями, ни тканью своей пелена напозла на край неба, где разгорался золотой, огнистый праздник, притушила солнце, обесцветила облака, превратив их в тусклое, неопрятное месиво, убрала с воды яркие полосы; сухой, чистый, нежно горячий воздух наполнился испарениями, запахло водо-

рослями, а уж не листвою, и сразу грустно поверилось, что зарядят дожди.

Подполковник и Муханов рано легли спать, остальные ушли на гулянку к бригадиру плотников, провожавшему сына в армию.

Я пробовал уснуть, но возбуждение долгого, сложного дня обернулось бессонницей. Я достал папиросы и прикурил от лампы-«молнии». Ветерок, тянувший в неплотно прикрытое окно, принес тихие голоса двоих, расположившихся, по всей вероятности, у причала на опрокинутых кверху дном лодках. Стоило прикрыть глаза, и казалось, будто разговаривают в самой избе.

— Лапка... — тянул мужской голос.— Маленькая...

— Да не такая уж маленькая! — звонко, остро отозвался девичий голос.— Кабы не скалатина, уже бы школу кончила.

— Школьница ты моя, отличница!.. Челочка мягкая, губы мягкие, как у телушки...

— Оставьте, дядя Тим! — сказала девушка, и тут я догадался, что это Люда.— Не такая я дура. Думаете, не знаю, чего у вас с матерью было?

— Мать не трожь! — строго молвил Толмачев.— Мать у тебя одна.

— У меня-то одна, а вот у вас — сомневаюсь! — со злостью сказала Люда.

— Ну, ну, полегче.

— Да ну вас! Ходили вы к ней — знаю, я все знаю!..

— Подглядывала, что ль? — лениво поинтересовался Толмачев.

— И подглядывала! — сказала Люда с вызовом.

— Люблю старушек... — начал Толмачев.— А за что люблю старушек? Не знаешь?

Люда молчала.

— То-то и оно! За ними можно идти не шатаясь.

— Почему? — не выдержала Люда.

— А из них песок сыплется.

Люда рассмеялась коротким, жестким смехом.

— К вам жена сегодня приезжала?

— Жену не трожь! — с механической строгостью сказал Толмачев.

— Мать не трожь, жену не трожь, кого же трогать-то?

— Меня... Трожь меня, сколько душе твоей угодно...

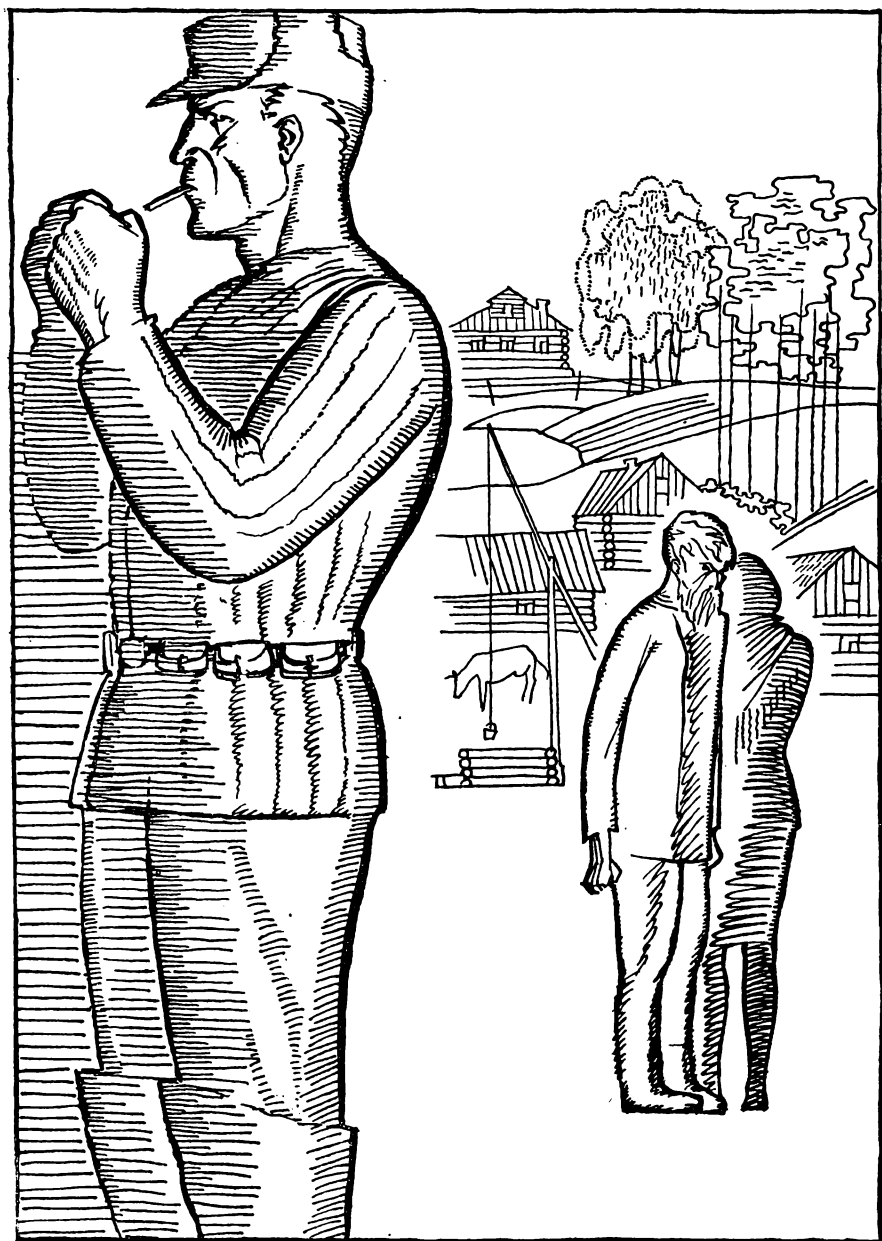
— Да будет вам! — прикрикнула на него Люда.— Небось слышно!

— А пусть слушают, лапа... У нас все аккуратно. Только слушать-то некому — одни спят, другие пьянствуют...

— Больно вы аккуратный! — перебила Люда.— Со всеми или только со мной?

— Со всеми... — В голосе Толмачева слышалась усмешка.— А с тобой особенно. Ну же, лапушка, уничтожай дальше соперниц.

— А вы и с Кретовой гуляли? С квашней щebetовской?.. Очень красиво!..



— Баба не квашня, встала да пошла... Кусай, кусай их, лапушка, точи зубки.

— Погодите!.. — тревожно сказала Люда.— Кто это там?.. Вроде Матвейч...

— Чего испугалась? Я ж тебе говорил про стариков...

— Да ну его! Вечно шныряет, высматривает... Терпеть не люблю, когда за мной следят. Пойдем отсюда.

— Куда?

— Да хоть к мосту.

— Ох, увлекаешь ты меня, лапуня!.. — И я услышал замирающие шаги.

Кто-то шумно, горестно вздохнул и вдруг тоненько заскулил. Это Валету что-то приснилось: лес, следы на росе?.. Потом он стал жалобно повизгивать и засучил по полу лапами...

...Проснулся я от близкого шума. Открыв глаза, я увидел в слабом мерцании пригашенной лампы Матвейча, подбиравшего с пола оброненный пояс-патронташ.

— Аккуратнее надо,— послышался шепот Толмачева. Он сидел на койке, вкось от меня, и расстегивал ворот рубахи.

— Кабы все беды такими были...— проворчал Матвейч и кинул патронташ к нему на кровать.— А девчонку ты оставь в покое, это я серьезно тебе говорю.

— Шпионишь? — Толмачев неторопливо стягивал рубашку через голову.

— Хватит с тебя баб...

Теперь я не видел Матвейча, а голос его звучал сверху,— верно, старик забрался на печь.

— Не лезь не в свое дело.

Толмачев повесил рубашку на спинку стула и нагнулся, чтобы снять сапоги.

— Смотри, Толмачев, я не всегда добрый!..

— Брось, Матвейч! Тебе ли грозиться? Сидел уж раз, знаешь, почем фунт лиха.

— Я через Сталина сидел, нечего меня этим попрекать. А к Людке не прикасайся.

Со стуком упал сапог, за ним другой.

— Не угомонишься — через меня сядешь,— равнодушно сказал Толмачев.

В полумраке был смутно различим лишь абрис его фигуры, но никогда еще не видел я с такой завершенной отчетливостью этого человека: красивого, равнодушного, высокомерного, мертвого ко всему, что не было его внутренней целью. Ястреб-тетеревятник на крыше лесника дома — та же отрешенность и сосредоточенность, беспощадность и спокойствие.

— Мне садиться не за что,— хорохорился Матвейч.— У меня все чисто.

— А керосин казенный куда девался? Лампа-то бензином с солью заправлена.

— Да ты что?..— Матвейч задохнулся.— Вас же с Пешкиным выручал... Мне-то какая корысть?.. Я с этого копейки не имел...

— Хоть бы и так,— спокойно сказал Толмачев.— Все равно статью подберут.

— Ну и сволочь ты, Толмачев! — Матвейч тихонько заплакал.— Бог мой, какая сволочь!..

— Вот ты всегда так,— укоризненно произнес Толмачев, прошлепал босыми ногами по полу и сунул в печь портянки.— Наговоришь чего не надо и сам же расстроишься.— Он вернулся к своей койке, стянул брюки и полез под одеяло.— А за Людку ты не думай. Девка в пору вошла, никуда тут не денешься. Какой-нибудь сопляк хуже обидит.

— Я не с того... Людку, может, и не сохранить. Страшно, что тебя никто, кроме меня, не знает! Как только земля такого гада носит?.. Стольких людей обнесчастил...

— Да ведь и меня, Матвейч, жизнь не помиловала,— зевая сказал Толмачев, и койка закрипела под ним.

Валет поднялся и, стуча лапами, подошел к егерю.

— Пшел!..— тихо прикрикнул на него Толмачев.— На место!

— Тебя жизнь не помиловала! — с горечью говорил Матвейч.— Может, раз улыбнулось счастье жалкой твоей бабе, когда она поверила, что тебя нет. Будь ты хоть малость человеком, оставил бы все как есть. Нет, ты ей всю жизнь поломал, ты ее вечной казнью казнил...

— А мне не было казни? — глухо и серьезно сказал Толмачев.— Ври дед, да не завирайся. Я с ножом в сердце жил...

— Может, и так!.. Да только было да сплыло... Ты же счастливый, сволочь! Под твою дудку и жена и дети пляшут. У тебя и дом, когда захочешь, и все удовольствия от дому. Но ты шляться привык, ты работать не хочешь, жить в семье не хочешь, тебя на сладенькое тянет!.. Ох, до чего я тебя ненавижу!..

— Давай спать, старый, завтра рано вставать.

— И ведь не ухватишь, дьявола!.. Может, баб на тебя подбить?..— будто советуясь с Толмачевым, говорил Матвейч.— Так нет — они не выдадут тебя, бродягу-мученика!.. Как же подобратся к тебе, а?..

— Не трать даром силы, кто тебе поверит?

— Надо бы, чтоб поверили!..— все беспомощней и жалче бился под потолком голос Матвейча.— Должны же люди знать, кто промеж них ходит... А там доноси, отсижу... ладно... небось не впервой...

Толмачев не отозвался: он спал.

Под утро зарядил обложной дождь, а уже на другой день мы должны были вернуться в Москву.

КОГДА УТКИ В ПОРЕ

В начале апреля я получил письмо от Анатолия Ивановича — зовет на охоту:

«...Весна у нас ранняя и дружная, тетерева орут — сил нет, третьего дня под самое окно глухарь прилетел, прямо как боров хороший, а Буренкова прогнали, и уток ожидают на Великом много, так что обязательно приезжай, это самая красивая охота, когда утки в поре».

Перед таким приглашением устоять невозможно. Смущало меня одно: как добраться туда в весеннее бездорожье? Мой приятель, рыжебородый румяный весельчак, уже бывавший на Великом, уверил меня, что его старый «Капитан», приобретенный, похоже, на свалке металлолома, обладает качествами амфибии и чувствует себя на воде еще лучше, чем на суше.

Так или иначе, но мы без единой задержки домчались до развилки на Коробовском шоссе и взяли прямой путь на Мещеру. Приятель то и дело заводил речь о номерах дробы, пригодных для весенней дичи, о своем старом бельгийском карабине, бьющем без промаха на восемьдесят метров, предлагал держать пари, что обстреляет меня. Я отмалчивался, считая, что этими разговорами он только раздражает бога дорог и бездорожья. Приятель догадался, что я отмалчиваюсь из суеверия, и это так его рассмешило, что мы едва не опрокинулись в кювет.

Асфальт кончился за Фролом, но почти до самого Дубасова мы ехали по песчаной, усыпанной щебнем насыпи — будущему шоссе. Камни с такой силой барабанили о дно машины, что мы опасались за наш бензиновый бак. И все же мы благословляли эту насыпь: по сторонам от нее, в сосновом жидняке, грозно темнели глубокие, топкие лужи, их глинистые закраины были изжеваны колесами буксовавших там грузовиков. Возле Дубасова нам преградил путь чугунный каток, пришлось сползти вниз. Деревня, как и положено, оказалась непроезжей: ее во всю ширь пересекало весеннее озерцо, в котором вольготно плавали гуси. Мы рванули задами, прямо по целине. Уж не ведаю как, но мы проехали, оставив за собой на зеленом ворсе молодой травки широкие черные колеи, готчас налившиеся водой. Дальше пошла грунтовая дорога, вся в рыжих лужах, но дно у луж было твердым, и мы с ходу форсировали их, вздымая фонтаны брызг...

Вот наконец показалась деревня Тюревище, стоявшая на берегу Пры, и во мне впервые затеплилась надежда, что мы и впрямь доберемся до охотхозяйства, и будет встреча с Анатолием Ивановичем, и влажный холодок крутых бортов челнока, и озеро Великое, и утки в поре, и сладкая, слаще всех ароматов, селитряная вонь пороха после удачного выстрела, и теплое, тяжеленькое, вошанное тело убитого сез-лезня...

Всего лишь однажды, лет шесть назад, пытался я проникнуть сюда в весеннюю пору. Шоссе обрывалось где-то у Егорьевска, и нечего было рассчитывать проехать сюда на машине. Я добирался поездом до станции Бармино, попутным грузовиком до Фрола, а оттуда вплавь, и не всегда на челноке. Прибыв к месту назначения с температурой сорок, я залег на печи под двумя тулупами и так скоротал недолгий срок весенней охоты. После того я бывал тут лишь летом да ранней осенью, а вёсны проводил на тяге в подмосковных просеках. Понятно, как волновала меня предстоящая охота,— ведь мне впервые придется увидеть селезней в свадебном уборе, или, как говорят мещерцы, в своем пере, увидеть брачное таинство птиц, являвшихся мне, летнему охотнику, как бы лишь в обличье самок.

Мы благополучно проскочили Тюревище, по гнилому деревянному мосту переехали широко и незнакомо разлившуюся Пру и уже в близости соснового леса, за которым раскинулась охотничья база, намертво завязали в обширной, но неопасной с виду луже. Едва успел я выскочить из машины, как вода стала вровень с дверцами, и мой спутник оказался накрепко закупоренным, словно в консервной банке. Опустив боковое стекло, он стал истошно кричать, чтобы я быстрее топал на базу за тягачом.

Я подходил к сосняку, когда со стороны редкого леска, слева от меня, донеслись выстрелы. Стреляли, видно, по рябчикам, а охота на боровую дичь была уже запрещена. Между деревьями мелькнула фигура в прорезиненном плаще. Человек заметил меня, что-то крикнул в глубь леска и неторопливо, будто боясь оступиться, направился в мою сторону. На мне были высокие резиновые сапоги, ватный костюм и финская суконная фуражка, и он, верно, принял меня за работника охотхозяйства.

— Вот, ружьишко пробую,— сказал он с фальшивой улыбкой на полном, мучном лице.

Из леска вышел мальчик лет десяти и остановился в нескольких шагах от нас.

— Вам известно, что это браконьерство? — сказал я.

— Ружьишко пробовал,— повторил человек.— Вот и сынок может подтвердить. Так, сынок?

Вместо ответа мальчик сунул палец в нос. Он походил на отца: такой же круглый, сытый, мучной.

— Видите,— сказал человек, словно на общепринятом языке жестов ковырянье в носу означало: да, так.

Мне захотелось припугнуть это лжеца и нарушителя.

— Где работаете? — спросил я строго.

— А в совхозе,— сказал человек тем же вкрадчиво-успокаивающим, противным голосом.— В совхозе имени товарища Буденного, где ж еще?

— Вам придется пойти со мной.

Он задумчиво поглядел на меня.

— Знаете, я лучше туда пойду.— Он ткнул большим пальцем через плечо.— Я правда лучше туда пойду. А вы ступайте себе потихоньку, куда вам надоть.

Когда он произнес это нарочитое «надоть», взгляд его как-то дурно заволокся. Я вспомнил, что за браконьерство полагается немалый штраф — тридцать рублей, — и мне стало не по себе. В руках у этого мучного, благообразного человека в сильно пахнущем резиной плаще было ружье, а дорога — пустынна. Не следовало заблуждаться насчет ценности своей жизни в чужих глазах...

Тут поблизости послышался шум мотора. Я оглянулся: ныряя тупым рылом в колдобины, к нам приближался вездеход охотничьей базы. На радости я хотел было отпустить браконьера подобру-поздорову, но он уже не нуждался в моем снисхождении. Поддерживая рукой толстое брюхо, двустволка на плече, он мчался крупной рысью через дорогу к оврагу, высоко вскидывая колени. За ним, очень похоже, с незатейливой тяжестью, трусил его мальчонка. Солидный, толстый, неадаптированный к цене человек позорно удирал на глазах собственного сына от опасности, отнюдь не смертельной. Мне стало жаль мальчонку, хотя, верно, он увидит в поведении отца не трусливую низость, а находчивость и ловкость...

Оказалось, сегодня второй день пасхи, и шофер спешил в Тюревище за «горючим». Однако он твердо обещал мне, что сперва вытащит из лужи моего приятеля, а уж затем займется добыванием самогона.

Слово свое он сдержал: когда я приближался к охотничьему домику, мимо меня промчалась наша забрызганная грязью машина...

Как свежее и хорошеет все вокруг, когда прогоняют руководящего дурака! Сам воздух становится иным. Не знай я из письма Анатолия Ивановича, что Буренкова выгнали, я и так понял бы это мгновенно. И не потому, что у причала вместо сонно-хмельных образин буренковских оборотов, набранных из беглых колхозников, мне виделись славные, серьезные лица подсвятыньских егерей, не потому, что исчезли орудовские знаки, осквернявшие лес, и батарея уборных на береговой круче, осквернявшая озеро, а по спокойствию и умной тишине, разлитым над базой. Буренков был громогласен, настырен, суетлив, хотя и любил иной раз покрасоваться в истуканеи позе, с рукой, сунутой за борт ватника, с взглядом победителя, устремленным в сторону Шигары. Он держал людей в вечном напряжении, все служащие — от кухонной судомойки до охотоведа — сбивались с ног, выполняя его противоречивые указания, но вся эта суматоха не рождала пользы: лодок, чучел и подсадных постоянно не хватало, егерей было не доискаться, приезжие охотники толпой маялись на сходах, даром теряя драгоценный зоревой час.

Анатолий Иванович познакомил нас с новым заведующим базой. Это был пожилой человек с умным усталым лицом. Его сухая, продубленная солнцем и ветром кожа имела тот прочно красноватый оттенок, что бывает у людей, постоянно живущих на природе. Прежде он

заведовал большим охотхозяйством под Астраханью, но вдруг на шестом десятке забарахлили легкие, и его перевели сюда, в сухую сосновую благодать.

Привыкнув к буренковской повадке, мы схватились за карманы, чтобы предъявить заведующему охотничьи билеты, карты отстрела, квитанции на койки и паспорта. Угадав наше намерение, он мягко остановил нас.

— Когда отохотитесь,— сказал он,— отдадите свои карты егерям, чтобы они проставили количество убитой дичи.

При виде такого доверия мы едва сдержали слезу. Значит, можно так жить! Можно верить, что приезжающие из Москвы за двести километров в распутицу люди, к тому же знакомые местным служащим, не жулики и не безумцы, отваживающиеся браконьерить в охотхозяйстве.

Конечно, мы сразу подружились с Николаем Петровичем Болотовым. Через пять минут он уже звал меня и моего приятеля по отчеству. Я думал, мне следует договориться с ним насчет Анатолия Ивановича, в охотхозяйствах обычно не склонны считаться с «капризами» гостей. Но, милый человек, он уже дал распоряжение Анатолию Ивановичу готовиться в путь. Вот почему Анатолий Иванович исчез: едва успели мы обменяться рукопожатиями, он пошел за чучелами и подсадной.

Болотов предложил нам поглядеть на редкого зверя, случайно угодившего в рыбачью сеть. На скамейке лежало странное существо: округлый мохнатый комок с кротиным хоботком, утиными перепончатыми лапами, длинным, довольно широким хвостом в темных роговых чешуйках, как у ящерицы. Сочетание в одном существе примет зверя, пресмыкающегося и птицы было отталкивающим, от этого веяло мраком и чужестью доисторических времен, когда твари земные еще не распределились по стихиям.

Я взял на руки загадочного уродца.

— Холодный...

— Да его уже дохлым вытащили,— сказал Болотов.— Он в сети задохся. Это выхухоль, в здешних местах их не знают.

— Выхухоль! — потрясенно вскричал мой рыжебородый приятель.— А я всю жизнь думал, что выхухоль — птица!..

Послышался слабенький вскрик — что-то тренькнуло, и тяжело плеснула вода.

Глаша, судомойка с кухни, споткнулась босой ногой о корень и уронила полное ведро. Маленькая, тонкая, как тростиночка, она с отчаянием глядела на опрокинутое ведро, поджав ушибленную ногу. Мой рыжебородый приятель вспыхнул, схватил ведро и помчался к колодцу. Глаша, прихрамывая, поплелась за ним следом.

Я успел натянуть прорезиненный комбинезон, собрать ружье, набить патронташ, а рыжебородого все не было. Я подождал, подождал да и пошел к сходням...

Анатолий Иванович оттолкнулся веслом от причала, и челнок, взмыв илстое дно, вырвался на глубину. Опустившись на скамеечку и будто не замечая меня, егерь старательно скрутил папиросу, затем, пряча огонек в ладонях, закурил, снова взялся за весло, чтобы развернуть челнок по курсу, и лишь тогда, освободив себя от всех забот, улыбнулся застенчиво и радостно.

— Ну, как она?.. — Он разумел «жизнь». — Как Курилыч?

Я успокоил его насчет Курилыча: процветает.

— А Курахтаныч?.. Чего не приехал?

Ответить на этот вопрос было сложнее: наш друг Курахтаныч уже никогда не придет на Великое, не спросит своим протяжным, вежливым голосом: «Анатолий Иванович, дорогой, какой номер дроби мне брать?». Осколок, пролежавший у него под сердцем с финской войны, в единый миг оборвал его жизнь.

— Плохо дело с Курахтанычем, — пробормотал я.

— Ну он хоть живой?

— Скорей, нет... — растерянно-глупо ответил я, желая смягчить удар.

Анатолий Иванович долго молчал, тихонько ворочая веслом. Под его руководством Курахтаныч сделал свой первый выстрел, сбил первую утку, из ленивого, скептического любителя превратился в страстного утиного охотника.

— Хороший был мужик Илья Иоганыч, уважительный, — донеслось будто издалека.

Анатолий Иванович впервые выговорил трудное отчество нашего друга.

Странно для меня выглядело озеро — оно было как бы голым, сквозным. Сита, в летнее время крившая его зелеными островками, еще не отросла, лишь редкие сухие белесые камыши покачивались над синей ветреной рябью. Кое-где желтели расцветшие кувшинки, но их листья, как и бурные поля ушков, были накрыты большой весенней водой. Озеро просматривалось во все концы, и я впервые воочию убедился, насколько справедливо названо оно Великим.

Необычно выглядел и шалаш, в который поместил меня егерь. Он был сложен в тростнике из еловых лап, короткий, узкий, с плотной крышей из того же ельника. Оказывается, крыша служит добрую службу: она препятствует стрельбе влет, когда легко спутать селезня с самкой.

То ли из обычного словесного озорства, заставлявшего Анатолия Ивановича применять к утиным породам диковинные местные названия, то ли из желания подчеркнуть особость этого шалаша, егерь назвал его «скрадень».

Изменились и чучела под стать окружающему. Вместо старых бурых знакомцев перед шалашом закачались ярко изукрашенные красавцы. Я узнал крякового селезня, чирка-трескунка, красноголового нырка; самый же яркоцветный оказался весенним подобием незврач-

ного чирка-свистунка. Лишь подсадная осталась прежней, но повадка ее, в чем я скоро убедился, тоже стала иной.

Я думал, что Анатолий Иванович, раскидав чучела, по обыкновению заведет челнок в шалаш. Но оказалось, что скрадень мал для челнока, а сухой камыш не служит маскировкой.

— Я позже наведаюсь! — крикнул Анатолий Иванович, отплывая от шалаша.

Честно говоря, я сразу потерял надежду на удачу. Мне был виден лишь малый пятачок воды перед шалашом, где покачивались чучела да прихорашивалась подсадная, а я привык к широкому обзору, когда можно оглянуть простор и небо. Я хотел встать, но плотная крыша сразу вернула меня в сидячее положение. Странен мне был и дневной зрелый час — я привык к охоте в таинстве вечерних сумерек или утренних зорь. Сами чучела не вызывали доверия: яркая, ярмарочная расцветка подчеркивала их невсамделишность. Я еще предавался этим пустым мыслям, когда подсадная, лишь изредка издававшая ленивое, ржавое «кря-кря», вдруг зашлась в безостановочном нутряном крике.

Рядом с чучелом красноголового нырка сидел другой обладатель красно-коричневой головы и такой же шеи, зоба, серых, впроголубь, крыльев. Лишь на миг показались они мне схожими, затем меня прямо-таки ошеломило различие между одушевленной плотью, живым, изящным, с гордой повадкой существом и неуклюжей подделкой. Как могут утки поддаваться на такой грубый обман? Красноголовый красавец медленно плыл в сторону подсадной. Я выстрелил, толком не прицелившись. Красная головка опустилась в воду, крылья забились, фонтаня брызгами. Еще выстрел. Нырок стих и закачался на волне. Не успел я перезарядить ружье, как нырок, завалив головку косо на спину, стал уплывать к тростниковой заросли. Неужто весенний экстаз наделяет их такой живучестью! Чепуха, весенняя дичь не столь крепка к дробу, просто мне изменили рука и глаз...

Теперь я целился долго и старательно, однако мне удалось добыть его лишь четвертым выстрелом. И тогда я дал себе зарок: если опять не убью селезня с первого выстрела, — с охотой покончено. Нельзя мазать в пятнадцати-двадцати метрах по сидячей дичи, обращать охоту в мучительство. Одно дело — разом порвать тончайшую нить, на которой держится жизнь, иное — скоблить ее тупым ножом...

Все же я сохранил для себя охоту. Вдали уже показался челнок Анатолия Ивановича, когда снова таинственно закрикала подсадная, приветствуя севшего в десятке метров от нее чирка-трескунка. Я взял его, как надо, с одного выстрела. Он почти не отличался от своего летнего образа, лишь на головке белела полоска, окаймленная черным. Видно, трескуньячи дамы не любят франтовства.

— Я думал, вы вдвое больше набили, — холодно заметил Анатолий Иванович.

— Ничего, отыграюсь на вечерней зорьке, — самоуверенно сказал я.

Но с вечерней зорьки я вернулся пустым: не было ни одной подсадки. На базе царило легкое оживление: не зря вездеход прокатился в Тюревище. Мы уже не застали пирушки. Несколько служащих базы вместе с охотниками распивали в столовой чай из огромного голубого чайника, Анатолий Иванович подсел к ним.

Когда я, умывшись и переодевшись, вернулся в столовую, Анатолий Иванович спорил о чем-то с дородным, багроволицым, седовласым охотником в замшевой курточке на молниях.

— Как хотите,— говорил охотник сытым голосом,— а не верится мне, что ваша жена так мало заработала!

— Почему мало? Она еще выговор заработала, чтоб не ленилась. Я догадался, что речь шла о делах колхозных.

— Как же вы прожили зиму?

— Так вот и прожили! — отрезал Анатолий Иванович.

— Небось рыбкой пробавлялся? — высказал предположение Болотов.

— Не особо,— сказал Анатолий Иванович.— На Озерке вовсе ловля была запрещена.

— Наконец-то взялись за охрану рыбных богатств! — обрадовался седовласый.

— Взялись, да не с того конца,— спокойно сказал Анатолий Иванович.— Невозможно, сколько рыбы подо льдом задохлось.

— Это почему же?

— Мы, когда ловим, шурфы во льду пробиваем, ну, рыба и дышит. А еще: часть выловим, тогда остальной кислороду хватает.

— Точно! — подтверждает Болотов.

— Но надо же бороться с браконьерством!

— Обязательно,— наклонил голову Анатолий Иванович.— Того, который запретил рыбалить на Озерке, надо поймать и за решетку...

— Чего ловить-то? — вмешался старший егерь Беликов.— Небось в Москве, в кожаном кресле сидит.

— Тогда его не поймаешь,— заключил Анатолий Иванович.

— Ну, знаете, вы слишком мрачно смотрите на вещи! — Охотник в замшевой куртке начинал злиться.

— А я не смотрю на вещи,— невозмутимо отозвался Анатолий Иванович.— Кой толк?

— Не робей, воробей! — засмеялся Егор Беликов.— Мы еще увидим небо в алмазах!

— Небо что,— отозвался Анатолий Иванович,— там полный порядок.

— Ничего, наладится ваша жизнь,— наставительно сказал дородный охотник.— Не все сразу, временные затруднения.

— А я на свою жизнь не жалею,— вызывающе перебил Анатолий Иванович.— И ни на какую другую не променяю. Я, может, лучше вашего жизнь прожил. Я всегда был с водой и деревьями, со всякой птицей, рыбой, зверьем и со своей душой, коли она есть...

Понял ли охотник в замшевой куртке, что в этом споре ему не выиграть, но только он поднялся, наигранно сладко потянулся до хруста позвонков.

— Хорошо с вами, да перед зорькой не мешает всхрапнуть.— И он вразвалку вышел из столовой.

— Подстрелил он чего? — спросил Анатолий Иванович Беликова.

— Вроде бы матерого, только не нашли его...

— И не ищите: он матерого в уме подстрелил.

— Чего ты с ним сцепился? — спросил Болотов.

— А что он из меня придурка делает? Я морс из соплей сроду не потреблял. Терпеть не люблю этих городских, что мужичку сочувствуют...

— Утешающий господин, в рот ему дышло! — в тон Анатолию Ивановичу сказал Егор Беликов, нахмутив толстые черные брови.

Я спросил Болотова, не видел ли он моего рыжебородого приятеля.

— Как же! — усмехнулся Болотов.

— Он что, охотился?

— Да, на кухне.

Ночью на базу прибыли два автобуса с охотниками, и на утренней зорьке мы с трудом отыскивали свободный шалаш. Еще в темноте озеро озарилось вспышками выстрелов, но Анатолий Иванович скептически отнесся к этой жаркой пальбе.

— Балуются, порох тратят, не слышать уток-то...

А он слышал даже пролет одинокого чирка в вышине.

Рассвет пришел навалом. Разом, без всякой постепенности, все вокруг загорелось, заблестало, вызолотилось, будто не с востока, а с четырех сторон света взошло по солнцу. Нестерпимо засверкала вода перед шалашом, и огнисто вспыхнула неподалеку от подсадной красночеричневая голова селезня-белобрюшки. Похоже, что он прилетел еще затемно. Я долго целил в его жаркую, фазаньи цветастую красоту. Мушка ружья перебежала с белого надглазного пятнышка на кирпичную шейку, на серую, рябистую полосу, отделяющую шейку от зоба, на светло-багряный зоб. Дробь легла точно по цели.

Больше подсадок не было. Лишь крупный матерый селезень вмиг налетел на подсадную, уже наизготове, потоптал и ушел под ее прикрытием низким, косым полетом...

Оставалось еще две зари, вечерняя и утренняя,— и конец охотничьему сезону! Анатолий Иванович предложил перебраться к нему, в Подсвятье,— поохотиться на Озерке. Оно тоже принадлежало охотхозяйству, но туда никто не ездит: уж больно далеко от базы. Я с радостью согласился. Не люблю, когда охота превращается в массовку, да и хотелось взглянуть на Подсвятье.

Нужно было договориться с рыжебородым. Теперь-то я знал, где его найти.

На крыльце кухни, перекинув через плечо суровое полотенце, мой друг старательно вытирал обеденные тарелки. Я сказал ему о предло-

жении Анатолия Ивановича. Он промолчал, тарелка чуть повизгивала под нажимом его пальцев.

— Так поедешь?

Он предупреждающе округлил глаза. Из кухни вышла Глаша с горкой мокрых тарелок. Она глянула на меня исподлобья, поставила горку на колченогий столик, а сухие тарелки забрала с собой.

— Не поеду я,— решительно сказал приятель.— У меня тут дела...

— Я думал, у нас одно дело — охота. Ну да как знаешь... Ты хоть подкинешь меня до Ялмонти?

— Можно...

— А приедешь за мной послезавтра утром?

— Ну приеду,— неохотно отозвался приятель.

Анатолий Иванович на челноке попал к Ялмонти раньше нас. Мы опять битый час проторчали в той же луже у моста. Неглубокая, неширокая, с довольно твердым дном, она срабатывала как капкан, хватая в последний момент задние колеса и стремительно всасывая машину в себя. Вытащил нас шальной грузовик, случайно оказавшийся на трассе в праздничный день.

При расставании мой друг смотрел угрюмо. Я думал, он жалеет, что отказался ехать с нами. Но нет, его заботило другое.

— Вдруг я опять застряну в луже? — сказал он.— Глаша заругается...

Мы с Анатолием Ивановичем быстро перебрались через узкий рукав Пры к хутору Беликову, как именуют подсвятыньцы правый край деревни. Топкий овраг отделял Беликов хутор от остальной деревни. И здесь, в прозоре, я увидел на задах деревни свежие смолистые столбы, убегающие в сторону Клепиков.

— Никак электричество?

— Столбы не электричество,— сумрачно отозвался егерь.— Вон, гляньте! — Он показал на почерневшие гнилые пеньки.— Столбы уже ставили раз, еще при Дронове, помните его?

Я помнил Дронова, мы познакомились с ним в пятьдесят шестом году по пути в Подсвятье, в страшную весеннюю распутицу. Только что выбранный первым секретарем райкома, он сразу решил наведаться в это окраинное место, куда еще не ступала секретарская нога. Он чуть не утонул, схватил жестокий грипп, но все-таки добрался до места.

— А где он сейчас, Дронов?

— Не знаю... Как поставил столбы, сразу в честь попал, и его на другую работу перевели, с повышением. Вроде даже в область, в самую Москву. Столбы частью погнили, частью на топку пошли... Неправильно это,— задумчиво добавил егерь,— когда от одного человека все зависит...

Непривычно выглядела знакомая мне часть Подсвятья. Прежде деревню отделяла от реки Пры мокрая луговина в полкилометра ши-

риной, а сейчас займище реки налилосьолой водой, и деревня стояла как бы на берегу озера. Верно говорил Анатолий Иванович, что по весне тут можно охотиться не выходя из дома.

На скамеечке под окнами нас поджидали Юрка и Танька. За минувший год ребята сильно вытянулись и повзрослели. В четырнадцатилетнем Юрке появилась отцовская неторопливая основательность и некоторая хмурость, словно жизнь обременила его немалой заботой. Впрочем, так оно и было: мать уехала на праздники к родственникам, оставив все хозяйство на Юрку.

Десятилетняя Танька стала красавицей: смуглая, вся усеянная веснушками, с зелеными блестящими глазами. Она стеснялась своего облика, своих прелестных веснушек и потому, чуть завидев нас, стала прятать лицо в ладонях, оставляя открытым лишь один любопытный кошачий глаз.

До Озерка по прямой было рукой подать, но добраться туда на челноке — путь немалый. Нужно пройти водопольем до Пры, затем по самой реке, перетащить челнок через отмель и плыть километра два протокой и по залитому водой болоту. Небо хмурилось тучами, накрапывал дождь, решено было на вечернюю зорьку не ходить.

Остаток дня прошел невесело, Анатолий Иванович томился. Он то включал, то выключал радиоприемник, цыкал на ребят, забирался на печь и тут же скатывался вниз, вздыхал, тер лицо руками и беспрестанно курил, брезгливо морщась, словно папиросный дым был ему горек. Я никогда не видел его таким беспокойным и развинченным. Ни разговоры, ни чай из самовара, ни подкидной дурак не могли отвлечь его от этой странной тревоги. Лишь Таньке на какое-то время удалось заинтересовать его. Она напяливала на себя неказистые материнские наряды, будто ненароком заглядывала в горницу и с визгом, закрыв лицо руками, пускалась наутек. Анатолий Иванович начал было улыбаться, но вдруг нахмурился и сердито гаркнул:

— Хватит дурочку строить!

В кухне, гремя рогачами, возился Юрка.

— Юрка, слышь? — окликнул его отец.

— Чего тебе? — хмуро отозвался Юрка.

— Загуляла наша мать... Видно, вовсе не хочет домой вертаться.

— Скажешь, загуляла!.. Дня еще не прошло...

— Нешто она сегодня ушла?

— А то не знаешь!

За годы нашего знакомства я не слышал, чтобы Анатолий Иванович говорил с женой о чем-либо кроме хозяйственных дел, не приметил ни одного его ласкового взгляда или жеста, обращенного к ней. Но как же сильно ощущал он ее существование рядом с собой, если даже короткая разлука была ему непереносима!

Юрка собрал поужинать: холодная рыба, моченые яблоки, утиный суп, пшенная каша с молоком. Анатолий Иванович вяло поковырял вилкой рыбу, съел несколько ложек супу, а от каши отказался.

— Заелся! — обиженно сказал Юрка. — Ишь, балованный какой!

— Неохота мне подгорелую кашу есть, — проворчал Анатолий Иванович.

Каша нисколько не подгорела. Отменная, чудесно упарившаяся в печи каша, даже Шура не сготовила бы вкуснее. Анатолий Иванович становился несносен со своей тоской, и я вышел на улицу покурить. Все небо было обложено толстыми иссиня-черными тучами, закат пробивался в разрыве туч темно, густо-красный, как сок переспелой вишни. Похоже, собиралась гроза. В окружающем мире шло какое-то брожение: орали гуси, блеяли овцы, домашние утки носились над водопольем с резвостью диких своих собратьев. Пестрая курица, клевавшая селедочную головку, вдруг закричала по-петушьи, подскочила вверх и с громким шумом полетела за плетень.

Из дома Петрака, двоюродного брата Анатолия Ивановича, выбежало дивное существо: смуглое, как гогеновские таитянки, долгоногое, долгорукое, в куцей белой тряпочке, не достигавшей коленей и едва прикрывающей молодую грудь. Девушка выбежала из покосившейся избы на тихую пустынную улицу, как выбегают на праздничную площадь, где во все четыре стороны, кружа голову, кипит веселье. И вдруг остановилась, замерла, словно поняв, что бежать-то некуда.

Теперь я узнал ее, это была старшая Петракова дочь — Люда. За год, что я ее не видел, она перешагнула грань, отделяющую неуклюжего, голенастого, почти уродливого подростка от совершенной юношеской формы.

Она ничего не сохранила от прежнего, кроме жалкого детского платьица и разношенных, с замятыми задниками тапочек, спадавших с ее длинных, узких ног.

Люда постояла, склонив голову к тонкому, смуглому плечу, и медленно побрела к качелям, свисающим с толстого сука плакучей березы. Она стала на узкую дощечку, толкнулась ногой, обронив тапочку, и принялась раскачиваться.

Повизгивали проволочные петли, поскрипывал сук, роняя мшистую шелуху, развевался белый подол, все выше и выше взлетали качели, напрягались смуглые икры, напрягались тонкие руки, качался синий, печально-жестокый взгляд.

За моей спиной хлопнула дверь. Пахнув тройным одеколоном, мимо прошел Юрка — в новых брюках, плисовой курточке и белой рубашке с отложным воротничком. Много заманчивых дорог лежало перед этим франтом, но он выбрал кратчайшую, ту, что вела к качелям. Видимо, это оказалась совсем не простая дорога, она шла зигзагами, петляла, поворачивала вспять, воздвигала перед путником бесчисленные незримые препятствия. Весь в поту добрался Юрка до качелей и стал там, лопухий, трогательно костлявый и ужасно незрелый, рядом с пронесившейся мимо него девушкой. И все же качели замедлили свой маятниковый бег, а вскоре и вовсе замерли. Юрка ухватился за ржавую проволоку, поставив ногу на дощечку,

Люда подвинулась, давая ему место, и взгляд ее уж не был ни жесток, ни печален, а ликующе, радостно враждебен...

На охоту мы вышли затемно. На ощупь отыскали челнок, погрузили снаряжение и отплыли. Гроза прошла стороной, было пасмурно, рассвет занялся неприметно, но сразу по всему простору. Я как-то вдруг заметил, что вижу не только челнок и лицо Анатолия Ивановича, но и дома на берегу, и высокие сосны на косе, откуда начиналась протока, и колокольню Ялмонтского храма.

В протоке нас снова охватила тьма. Мы долго плыли по узкому водному коридору, ивы купали в чернильной воде свои светлые сквозь сумрак, еще не облиственные ветви. Вкусно пахло свежей сыростью молодой травы, почками, весенними телами деревьев. Тем временем распогодилось, и небо над головой посветлело, зарумянилось. Солнечные лучи проникли сквозь заросли лозняка, протока словно раздалась в берегах, и по стержню легла золотая нитка.

Вода курилась, мы пронизали жемчужные клубы водяного дыма, порой теряя друг друга из виду, и мне, сидящему на носу, казалось, будто Анатолий Иванович нагоняет меня на другом челноке и вот-вот врежется в мою корму.

Туман рассеялся вмиг, унеся в своих клубах водный коридор с его сумраком, нависшими лозинами, сырой склепшей духотой. Вверху было бескрайнее голубое небо, вокруг, сколько хватало глаза, голубовато-зеленая вода. Я думал, это и есть Озерко,— нет, болото, залитое вешней водой. Из воды торчали голые кусты и березы-кривулины, вода затопила и смешанный лесок по правую руку от нас. Весна пела тут во весь голос. Токовали тетерева, посвистывали синицы, надрывались перепела. Они были самыми неистовыми в этом любовном хоре. Как чист и громок был перепелиный голос, если, долетая сюда издалека, с прошлогоднего жнивья, он звучал будто над самым ухом! Перепела вавачили по всем правилам, а бой их был странно укорочен: они выкликали не по-принятому «пить-полоть!», а просто «пить!».

— Видать, они как наши колхозники, — заметил егерь, — пить здоровы, а полоть не горазды.

Тут светло и мощно затрубили журавли, и под их серебряные валторны, разломив какие-то тощие заросли, мы прорвались в Озерко.

Озерко отличалось от болота лишь тем, что в нем ничего не росло, цвет воды был тот же голубовато-зеленый. Озерко не имело сейчас четких границ, оно затопило берега, поросшие березняком. У потонувших в воде подножий деревьев что-то золотилось, а когда мы выплыли на середину Озерка, я увидел, что оно обведено золотом по всему окружью. Это было непонятно, красиво и диковато. Рассудку вопреки, у меня мелькнула мысль о палой листве, неведомо как пронесшей сквозь зиму свою яркую осеннюю окраску.

Я не спросил Анатолия Ивановича о происхождении этого золотого обруча,— верно, из смутной боязни, что его ответ разрушит красоту удивительного явления.

Мы подплывали все ближе к затопленному березняку, и золотого становилось больше и больше, оно простиралось в глубь леса, громоздясь кучами у стволов. Тяжкой, нестерпимой вонью потянуло от березняка. И вот будто овальное золотое блюдо закачалось у самого борта челнока. Анатолий Иванович подбагрил его веслом: крупный дохлый окунь, сохранившийся до последней чешуйки, с хвостом и плавниками, с характерно приоткрытым глупым ртом, с красноватым прогнильцем на месте глаза, отчего казалось, что он сберег живой зрак. Только теперь увидел я, что лес сплошь завален изгнившей в золото рыбой.

Так вот о чем говорил Анатолий Иванович на базе! Полая вода вынесла всю массу задохшейся подо льдом рыбы на берег и, чуть спав, украсила Озерко этим зловещим и смрадным обручем. Природа мстит самоуничтожением за всякое бездумно-грубое вторжение в ее бытие, такое, казалось бы, простое и вместе сложное, таинственное, приоткрывающее себя лишь бережному, терпеливому, пристальному и смиренному взгляду.

Никогда не забыть мне этого рыбьего кладбища!

Мы забрались в большой шалаш, сложенный Анатолием Ивановичем ранней весной для собственной охоты и почти целиком принявший в себя наш челнок. Справа и слева от нас сухо звенели желтые камыши, чирки-свистунки подлетали близко и опускались в камыш, сразу исчезая из виду; иногда они садились на чистом, но за пределами выстрела. Анатолий Иванович, тяжело багровея лицом, свистел в кулак в надежде подманить их ближе. Обычно доверчивые и отзывчивые, чирки почему-то не поддавались на хитрость егеря.

— Может, чучелов наших опасаются, — предположил Анатолий Иванович. — Не надо было гоголей сажать: больно они велики и пестры.

Все же нашелся один — то ли посмелее других, то ли доверчивее, — которого не смутили аляповатые чучела. Он сел между деревянным гоголем и резиновым трескунком, ярко светлея грудкой. Чучела повернулись под ветром, и он, словно подражая им, повернулся боком, подставив под мушку изумрудную полоску в своем крыле. Дробь легла кучно по цели, чирок перевернулся кверху брюшком.

Пошел дождь. Шалаш не защищал от дождя, напротив, скапливал влагу, а затем ронял ее нам за шиворот, на лицо, руки и колени холодными водопадами. Особенно досадно было, что в каких-нибудь десяти метрах от нас, справа, дождя не было, там всюю светило солнце, ярко зеленела хвоя и драгоценно сверкала дохлая рыба. Даже в дождь мне удалось подстрелить свиязь.

— Давайте станем правей, — предложил Анатолий Иванович. — Там хоть и нет шалаша, зато сухо.

— А как же мы замаскируемся?

— Да никак. Заедем в лозняк — и все. Повезет — хорошо... Время-то уж позднее.

Я взглянул на часы: половина десятого, через тридцать минут кончается весенний охотничий сезон.

Мы собрали чучела, добычу, с трудом поймали вдруг заметавшуюся на привязи подсадную и во весь дух помчались прочь от дождя. На дне челнока плескалась дождевая вода. Мы вышли из дождя, как из леса: вокруг чистый простор, свет и тепло. Анатолий Иванович прочно стал на свою единственную ногу и, умело, сильно орудуя веслом, узкой его лопастью, в несколько секунд выбросил всю воду из челнока.

Чучела рассаживать мы не стали, ограничившись подсадной. Конечно, лозняк не служил укрытием, нас было видно со всех сторон, но хотелось досидеть оставшиеся четверть часа, встретить на огневом рубеже конец весенней охоты. Еще пятнадцать минут, и уж ни один выстрел не прогремит на Озерке до середины августа, замолкнут Великое и Дубовое, большая тишина воцарится над озерным краем, над всей Мещерой, и уж никто не помешает птицам допраздновать их любовный праздник. Впрочем, утиные свадьбы уже на исходе, пришла пора высидывать яйца, и самки скрываются от неистовых в своей любовной ярости селезней. Ведь селезни разоряют гнезда, расклеивают яйца, душат маленьких птенцов, им ненавистно все, что отвлекает от них самку. И охотники, стреляя селезней в эту пору, способствуют воспроизведению утиного рода.

— Вон матерый сел,— громко сказал Анатолий Иванович.

Я проследил за его взглядом. Метрах в восьмидесяти на чистой воде сидел крякковый селезень. Сейчас, против солнца, он казался темным и плоским, словно вырезанным из черной бумаги. Он был такой большой, красивый и недосягаемый, что я решил выстрелить, просто чтобы прогнать его. Я вскинул ружье.

Подсадная заворчала; это не было ни призывом, ни сигналом, она даже не приоткрыла клюва. Таинственные звуки, рождавшиеся внутри нее и невесть как поступавшие в простор, напоминали чревоуещание. Я нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало: забыл спустить предохранитель. И в ту же секунду селезень взмахнул крыльями и полетел прямо на нас.

Он сделал круг над подсадной, накрыв ее, как плащом, тенью своих крыл, и опустился на воду с легким всплеском. Сложив крылья, он замер с гордо вскинутой шеей. До чего же он был хорош! Почти черная бархатистая голова с изумрудным отливом, вокруг шеи белая лента, грудь темно-багряная, на темных крыльях синяя с прозолотью полоса.

Я решил дать ему последний шанс и, прежде чем выстрелить, взглянул на часы: без трех минут десять. Я имел право на выстрел, а селезень не использовал своего последнего шанса к спасению. Как же ослепительно прекрасна была ему серенькая уточка, если при всей своей зоркости он так и не увидел нас, больших, плохо замаскированных да еще освещенных солнцем, заставлявшим взблескивать ствол

моего ружья, головки патронов в патронташе, пряжку ремня на куртке и каждую пуговицу на гимнастерке Анатолия Ивановича!

Я выстрелил. Селезень распластался на воде, утопив свою черноизумрудную голову. Он даже не дернулся, сразу приняв в себя смерть. Я вынул уже ненужный патрон из второго ствола, и Анатолий Иванович напролом, сквозь кусты, толкнул челнок. Селезень весил не меньше двух килограммов, он был горячим на ощупь — так вскипятилась в нем кровь последним желанием.

Я не мог не выстрелить по нему, иначе мне пришлось бы раз и навсегда бросить охоту. Если человек сомневается в своем праве охотника, он уже не смеет убивать ни в конце, ни в начале, ни в разгар охоты, потому что он тогда не охотник, а убийца. Я должен был убить этого селезня ради всех селезней, убитых по весне, ради всех, которых я убил и еще убью в своей жизни, и ради самого себя, чтобы не лишиться прекраснейшего, что есть на свете: права верить в древнейшему человеческому инстинкту охоты.

Снова пошел дождь, теперь уже обложной. Анатолий Иванович решил добраться по болоту до Петракова бугра, что в полукилometре от Подсвятъя. Челнок он оставит там и придет за ним, когда развиднеется.

В сером сочащемся небе мелькали быстрые чирки, прямо на челнок налетела пара чернетей и с громким треском крыльев метнулась прочь. Бедняги не знали, что могут сесть даже нам на плечи, — это уже ничем им не грозит. Впрочем, через несколько дней они поймут это и перестанут бояться.

Разгребая веслом дохлых окуней, лещей, сазанов, Анатолий Иванович провел челнок через березняк, затем мы пересекли болото и вскоре пристали к песчаному берегу Петракова бугра, разделявшего поймы Озерка и Великого.

Здесь Анатолий Иванович выпустил из плетушки подсадную, предоставив ей добираться своим ходом. Утка было заупрямилась, затопталась на месте, изображая всем своим видом кокетливую беспомощность, но легкий направляющий пинок заставил ее быстро заковылять к воде по ту сторону бугра.

— А не пропадет она?

— Еще чего! Да ее где ни выпусти, все равно домой придет, почище собаки!

Когда мы входили в деревню, я увидел подсадную: старательно работая лапками, она плыла к дому. А потом она полетела, и не то чтобы низом, а вполроста тополей, растущих по кряжу, и, миновав водополье, опустилась возле избы Анатолия Ивановича.

— И чего Шурка домой не едет, дьявол ее возьми! — со злобой и тоской сказал Анатолий Иванович.

Мы подошли к дому. В распахнутой двери, лениво прислонясь к косяку, стояла женщина в темной жакетке, светлой шелковой юбке и высоких резиновых ботиках, голова повязана лиловой шелковой ко-

сынкой. Она то и дело опускала левую руку в карман жакетки, затем подносила ее ко рту, с полных, ярких губ летела за порог шелуха подсолнухов.

Я никогда еще не видел Шуру такой нарядной и царственно праздной и не сразу узнал ее. Лицо и шея Анатолия Ивановича медленно залились тяжелым, густым румянцем.

Я остро позавидовал егерю. Почему и меня не ждет на пороге женщина, необходимая мне до смятения?..

Два зеленых кошачьих глаза глянули из оконной протемы и, поймав мой взгляд, погасли, захлопнутые ладошкой, зажглись снова, радостно, доверчиво, восторженно, и открылся в огромной улыбке нежный, розовый, корзубый рот. Танька ждала меня, Танька смеялась мне навстречу. Черт возьми, и я не обойден на весеннем хмельном пиру! Иди сюда, Танька, я научу тебя шевелить ушами и держать камышинку на носу, я знаю шесть скороговорок, песенку о кузнечике, который скачет коленками назад, совсем новую считалку и старую, но вечно живую сказку про белого бычка.

ЧЕМПИОН МИРА

1

Ивар пристукнул концами лыж, чтобы сбить снег. За дверью послышалось шлепанье туфель. Дагни знала этот стук и поспешила открыть дверь. Что-то уж слишком быстро оказалась она у двери! Наверно, опять не ложилась. Беспокоится. А чего беспокоиться? Кому он нужен? Да, сейчас все стали беспокойными: боятся каждого шороха, все чего-то ждут.

Он вошел нагнув голову, чтобы не задеть притолоку. Поставил лыжи в чулан.

— Ну что? — спросила Дагни.

Его раздражала нотка испуга, появившаяся в ее голосе с некоторых пор. Да и взгляд ее был каким-то робко-беспокойным. Он чувствовал себя униженным. Он ответил коротко, резко:

— Ничего.

На столе в плоской чашке, наполненной маслом, горел бледно-голубой фитилек. От него бежала вверх тонкая трепетная струйка копоти. Когда Ивар подошел к бачку выпить воды, на побеленной стене выросла его огромная тень. Тень поползла по стене, загнула и легла на потолок, будто смотрела на Ивара сверху вниз.

— Что ты сказал? — услышал он голос Дагни. Она приподнялась на подушке и широко открытыми глазами глядела на него.

— Ничего.

— Нет, ты что-то сказал.

— Ну а хотя бы и так! — сказал он запальчиво.

Его унижал ее испуганный взгляд. Точно он и не мужчина больше.

— Вытри лоб, — сказала Дагни. — У тебя волосы слиплись от пота.

Ивар ничего не ответил. Он и сам чувствовал, что волосы слиплись и лоб холодной остальной части лица, но не хотел верить, что это действительно так. Он бросил взгляд на большой хронометр, который носил на тыльной стороне руки. Ну и ну! Он не ходил и часу. Значит, выдохся. Неприятно называть вещи своими именами. Выдохся. Сколько ему лет? Сорок один. Тысяча девятьсот сорок два минус тысяча девятьсот один, вычел он в уме, это будет сорок один. Но ведь он родился в ноябре, а сейчас февраль. Значит, ему нет еще сорока одного. Ему сорок лет. В сорок лет Оскар Ларсен выиграл первенство мира в Давосе и установил два мировых рекорда. Сорок лет не так уж много. Он потрогал пальцами лоб и ощутил неприятную скользкую влажность.

Оскар Ларсен и на день не прекращал тренировки. Оскар Ларсен не пропускал ни одного состязания. Оскар Ларсен не расставался с тренером, который нянчился с ним, как с младенцем. Оскар Ларсен рюмку хересу не смел выпить без особого разрешения доктора Клингеля, этого хрыча. Оскара Ларсена только что в нужник на руках не носили. Ивар чувствовал бешеную злобу против Оскара Ларсена за то, что тот в сорок был героем, а он выдохся.

— К черту Оскара Ларсена!

— Что ты сказал? — спросила Дагни. Она уже засыпала, но сейчас с усилием приподняла над подушкой голову, светлую, начинающую седеть от пробора к вискам. Сонный испуг на ее лице казался смешным и не вызвал в нем привычного раздражения.

— Ничего, — ответил Ивар, чуть усмехнувшись.

— Ты сказал «к черту».

— Это я так... про себя.

— У тебя появилась очень дурная привычка думать вслух.

— Почему «очень дурная»?

— Потому что сейчас лучше вообще не думать — ни вслух, ни про себя.

Она повернулась на другой бок. Рубашка оттянулась на плече, обнажив тоненькую, с острым бугорком ключицу.

Ивар с нежностью и сожалением посмотрел на жену. Как мало доводилось им бывать вместе! Тренировки, состязания, поездки на чемпионаты Европы и мира постоянно разлучали его с Дагни. Это только считается, что прожили пятнадцать лет; если сложить вместе все дни довоенной жизни, что они были рядом, то не наберется и трех лет. Да, много упустил он из-за коньков. Он отказывал себе во всем, даже дружеская пирушка была для него запретной. Режим. Он был рассчитан надолго, раз он мог так держаться. Вот Танген этого не мог.

И все-таки Танген выиграл у него однажды, в Давосе, в тридцать

седьмом году. Кутила Танген, который прилипал к каждой юбке и часто выходил на лед такой усталый, бледный, испитой, что казалось — его унесет ветром на вираже. И все-таки Танген гремел не меньше. Ему прощались все неудачи, а каждая мало-мальская удача превозносилась до небес. Он мог проигрывать три сезона подряд, и все же каждый очередной сезон все газеты называли его первым претендентом. Только на пятьсот метров никто не мог его победить. Он летел, словно спущенная с тугой тетивы стрела. Здесь он был королем. А вообще он не был королем. Это сопляки-любители делали из него короля. И только он, Ивар, знал, что Танген такой же, как и все: темпераментный и слабый, подверженный всем соблазнам, ненастойчивый, но цепкий, впрочем легко впадающий в малодушие. Все-таки талант у него был. Только талант, и никакой работы. Вот уж Танген не стал бы сдерживаться. Нет. И был бы прав, черт его поделри, тысячу раз прав... Но кто знал, что наступит такое, и вся жизнь пойдет насмарку, и все, что делал, окажется ни к чему...

Фитилек затрещал, словно куда-то заторопился, и выбросил толстый язык копоты. Ивар осторожно opravил горелку.

Но, в сущности, не Танген был ему страшен. Микаэль Хорнсруд. Длинноногий Микаэль, что дважды выигрывал у него: в Давосе и в Осло, накануне войны. Но Ивар знал, что возьмет реванш. В тот год к нему вернулось то редкое чувство, когда знаешь, что возьмешь, что не можешь не взять. И он бы не отдал своего звания до конца пути. Ивар, единственный, достиг бы того же, что Оскар Ларсен. Годы ничего не отняли у него. Он был рассчитан на крайний предел, еще четыре сезона мог бы держать звание чемпиона...

Он провел ладонью по еще влажным волосам. Ничего не поделаешь. Выдохся.

Ивар встал, надел шапку и на цыпочках пошел к двери.

— Ты куда? — Она даже не повернулась, она видела спиной.

— Схожу к учителю Кьерульфу.

— Так поздно?

— Я на минуточку...

Ивар тихонько скользил по пологому склону. Дом Кьерульфа стоял в долине за окраиной поселка. Полная луна висела над лесом, до рогу исполосовали тени деревьев, такие черные и плотные, что казалось — вот-вот концы лыж запутаются в них, как в валежнике. Он обогнул школьный двор и теперь бежал сосновым перелеском. Сосны низко навесили над дорогой свои отягощенные снегом ветки. Ивар не успел пригнуться — огромная, сказочная лапа тяжело шлепнула его по лицу, засыпав всего прохладным пушистым снегом. Его брови, ресницы, щеки покрылись быстро таявшими снежинками, снег проник за шиворот, холодные щекочущие струйки побежали по спине. Он поднял палку и с силой ударил по стволу. Яростный снеговой смерч мгновенно вскипел вокруг него, ослепив, поглотив весь видимый простор, но, быстро утратив свое неистовство, стал покорно осе-

дать у ног, растворяться белым, прозрачным туманом. Простор вернулся к Ивару еще ясней и четче; все было в нем на месте, ничто не мешало друг другу, каждое дерево, куст, пригорок спокойно купались в луне, не посягая на права соседа. Но Ивар не испытал привычной радости. Даже стало еще тяжелее. Когда у человека отнято главное — свобода, все происходящее с ним только меняет оттенок печали. И сейчас он чувствовал что-то похожее на стыд. Стыдно перед деревьями, так доверчиво развесившими свои широкие, в снеговом уборе лапы, перед озером, светящимся тихо вдали, перед всей землей, которой ты больше не хозяин...

Ивар пожал плечами и, сильно отталкиваясь палками, понесся между соснами наискосок пади к дому учителя...

Кьерульф сидел в качалке и медленно потягивал из большой глиняной кружки с откидной металлической крышкой.

— Возьми вон ту,— сказал Кьерульф вместо приветствия, указав на полку, где стояло множество всяких сосудов — высоких, приземистых, толстых и тонких.— Нет, не эту, оловянную.

— Мне половину...

— Что, бережешься? Все еще думаешь вернуть давосский венок?

Кьерульф захохотал, обнажив крупные, острые и чистые, как у волка, клыки. У него был огромный, красный зев, жадный, плотоядный зев хищника.

Говорили, что в школе Кьерульф строг и требователен, но дома это был весельчак, краснобай и друг бутылки. Все его большое лицо с гривой желто-седых, будто тронутых окислом, волос, покрытое множеством наростов, походило на вспаханное поле. Волосы на этих наростах росли в разные стороны, иные курчавились, иные были жесткими и прямыми, как свиная щетина, поросль на щеках учителя имела прихотливый и буйный вид.

Но лицо его не отталкивало, напротив — располагало к себе, как морда сильного, жадного, но очень доброго зверя. Все же Ивар сказал с необычной резкостью:

— Хватит, Кьерульф. Прекратите!

Кьерульф из-под торчкастых, похожих на усы, бровей бросил короткий, светлый взгляд на гостя. Он увидел расстроенное и усталое лицо человека, которого любила и которым многие годы привыкла восхищаться вся Норвегия, залпом осушил кружку и сказал душевно:

— Ладно. Не буду.

— Скажите, Кьерульф... я хотел посоветоваться с вами. Нельзя ли что-нибудь сделать, чтоб разрешили соревнования?

Кьерульф как-то странно, искоса поглядел на Ивара и слегка покачал головой.

— Ну, может, бумагу послать в Осло?.. — неуверенно проговорил Ивар.

Кьерульф с силой опустил кружку на стол.

— Когда ты станешь взрослым, Ивар? Неужели ты до сих пор

ничего не понял? Ведь это же не случайность, что запретили соревнования. Это их обычная манера. Им мало завоевать, им надо задать всякое живое чувство в народе. И они убивают душу народа, его поэзию. В Вене они убили музыку, в Париже — литературу. Поэзия нашего народа — спорт, они убили наш спорт, отняли у нас крылья...

То, что говорил Кьерульф, было слишком мудреным для Ивара. Притом он и сам знал, почему запретили соревнования. Но его удивило непривычно нежное выражение, возникшее на буграстом лице Кьерульфа, когда он заговорил о крыльях Норвегии. Странно нежная морда зверя! Ивар подавил желание протянуть руку и потрепать по шерсти этого славного зверюгу...

Это было в первую оккупационную зиму. В Осло состоялись соревнования норвежских и немецких чемпионов. Многие норвежцы отказались от участия. Но Ивар согласился. Он думал: «Почему бы не насыпать немцам?». Он не собирался выставляться перед ними, он только хотел показать этим соплякам, что они понятия не имеют о спорте. Немцы обставили дело с помпой. Оркестр и прочее. Так сказать, скрепление дружественных уз. Но при этом смошенничали. До начала соревнований никого из норвежских скороходов не пустили на стадион. А лед был залит плохо — трещины, бугры, в особенности на виражах. Олаф Христиансен едва не сломал себе ногу. А немецкие бегуны, верно, хорошо знали лед, ни один из них не споткнулся. Только помогло это им как мертвому припарки. Первые пять мест заняли норвежцы. А когда Ивар обставлял немецкого чемпиона на десять тысяч, зрители-норвежцы устроили настоящую демонстрацию. Они кидали вверх шапки и кричали: «Да здравствует Норвегия!». Когда же немец, отставший на полкруга, подходил к финишу, его освистали все как один, даже женщины. После этого и последовало запрещение соревнований...

— Ты думаешь, что они опасаются большого скопления людей, демонстраций, — сказал Кьерульф, словно отвечая на его мысли. — Это дело десятое! Вот увидишь: пройдет еще год — они снова устроят встречу. Привезут своих и великодушно позволят вам проиграть. Ведь вы к тому времени и стоять на льду разучитесь.

— Неужели они так сделают? — с испугом спросил Ивар.

— Непременно сделают, если только... если только. Ну, в жизни бывают всякие перемены.

— А что, если мы откажемся? — Ивар и сам почувствовал, что возражение слабовато.

— Ты откажешься, другой откажется. Да. А разве не найдется одного, другого, кто бы согласился? Если бы все решились отказываться, многое выглядело бы иначе. Говорят же, что Танген надел эсэсовский мундир.

Танген! Ивар вспыхнул, но сдержался. На память пришла позабытая подробность последних соревнований в Осло. Танген никогда не блистал на стайерских дистанциях, и все же можно было богом

покаяться, что он нарочно приноравливает свой шаг к бегу немецкого чемпиона. Они пришли конек в конек. Да, а пятисотку Танген прошел по обыкновению быстрее всех. Не придерешься. Говорили, что после соревнований он был представлен гитлеровскому полковнику — главному арбитру. И все же это еще не повод обвинять человека! Откуда Кьерульф взял эти сведения? В нашу дыру не доходят даже слухи.

Но учитель вдруг сделался необычайно сдержан. Он, конечно, ничего не утверждает. В самом деле, откуда он может знать? Так, какие-то темные слухи. Да, откуда бы ему знать, что делается в Осло, когда он никого не видит, кроме жалкой горстки своих односельчан?

Хотя Ивар не отличался большой проницательностью, он сразу уловил в тоне старого учителя какую-то фальшь. Кьерульф был слишком открытым, громким, выразительным человеком, чтобы умело притворяться. Он зачем-то начинает передвигать разные вещи на столе, отвинчивает и снова привинчивает чубук у трубки. Кьерульф ему не доверяет. Ивару становилось не по себе. Он уже не может так спокойно сидеть в качалке, рассуждая о том, о сем. А Кьерульф между тем потягивается до хруста в лопатках, зевает, прикрыв ладонью розовую пасть. Но глаза у него свежие, без мутилки сна, пристальные и настороженные, как у подстерегающего добычу зверя. При этом Ивар подметил быстрый косой взгляд, брошенный учителем на стенные часы. Ивар понимает, что ему надо уходить, но чувство неловкости за Кьерульфа, которому он всегда безгранично доверял, заставляет его медлить. Не сознавая, что он сам при этом становится неделикатным, Ивар заглянул в кружку, слил на язык оставшиеся там капли, похвалил горьковатое пиво, на что Кьерульф отозвался угрюмым мычанием. Наконец Ивар поднялся и с чувством стыда за себя и за хозяина дома стал прощаться.

— Кланяйся жене, Ивар,— с видимым облегчением басит Кьерульф.

— Спасибо,— отвечает Ивар уже за дверью.

Он сошел с крыльца и, нагнувшись, стал прилаживать крепления лыж. Высокая темная фигура стремительно мелькнула мимо него, и, шагнув сразу через пять ступенек крыльца, человек вошел в сени Кьерульфа. Ивар услышал, как щелкнула щеколда и ржаво повернулся в замке ключ.

Ивар машинально взглянул на крыльцо и подивился широте шага незнакомца. Ну и ну! Просто невероятно!..

Всю дорогу до дома его томило беспокойство. Кто же этот незнаконец? Очевидно, из-за его прихода Кьерульфу не терпелось спроводить Ивара. Он старался представить себе его облик, но все произошло слишком стремительно, в памяти сохранился неясный контур чего-то невероятно вытянутого, наверное, оттого, что он смотрел на человека снизу вверх. А затем этот чудовищный шаг!

— Ну и шажище! — проговорил Ивар вслух и засмеялся.

Но он напрасно пытался придать своим мыслям веселый оттенок, его тревожил этот черный человек из ночи. Затем в памяти началась какая-то мешанина: почему-то вспомнился мальчик в семимильных сапогах из детской сказки — прыг-скок, шаг-другой над морями, лесами, долинами...

И такими же семимильными шагами бежала его память. Вместо крошечного мальчугана в огромных ботфортах, перед ним гостиница в Давосе, свежие булочки с маслом и ароматный кофе. Что за ерунда, при чем тут кофе? Но вот мелькнуло голубое зеркало льда, тысячеголосый рев толпы надавил на барабанные перепонки. Ивар почувствовал волнение, то ли от воспоминания, то ли от чего-то другого; ему почудилось, что странные скачки его памяти ведут к какой-то отгадке, и он, послушный и зачарованный, брел по ее странным, извилистым ходам.

...Впереди финиш, все тело, словно судорогой, прохвачено усилием последнего рывка. Уже пробуждалось ликующее чувство победы, когда впереди замелькали длинные ноги в черных рейтузах.

Ивар нажал из последних сил, но он ничего не мог поделать с чудовищным, неправдоподобным шагом своего противника. И раньше, чем его мысль сделала последний скачок, какой-то чужой голос отчетливо произнес внутри него: «Только один человек в Норвегии обладает таким шагом — Микаэль Хорнсруд».

Микаэль Хорнсруд — ночной гость Кьерульфа, Микаэль Хорнсруд здесь, в этой дыре? Тут скрывается какая-то загадка. Если это действительно Микаэль, то какого же черта учитель хотел помешать им увидеться? Ивар всегда был хорош с Микаэлем. Нет, тут что-то не так. Ладно, завтра он пойдет к Кьерульфу и заставит выложить все начистоту...

Но ему не пришлось брать учителя за бока. Когда на другой день он вернулся с прогулки, его встретила Дагни с загадочно сияющим лицом.

— Угадай, кто у нас в гостях?

«Хорнсруд!» — хотел он воскликнуть, а уж сам Микаэль заполнил дверь своей огромной фигурой. Головой упираясь в притолоку, стоял он, огромный, длинноногий, такой близкий сейчас Хорнсруд, со своим плоским лапландским лицом, льдисто-голубоватыми, с большими зрачками глазами, улыбался и протягивал к нему руки.

— Какими судьбами, Микаэль!

— Очень просто: узнал, что ты здесь, и решил навестить.

— От кого же ты узнал?

— От Кьерульфа. Он написал мне.

— Ты знаком с Кьерульфом?

— Более того. Старик — мой дальний родственник.

Вот как все просто объяснилось: учитель хотел сделать ему сюрприз. «Ну, тогда не стану их разочаровывать, притворюсь, что не узнал вчера Микаэля».

— Ну, рассказывай, Микаэль! Ведь мы тут словно отрезанные от всего мира. Что слышно в Осло? Правда, что Танген...

— Снюхался с гитлеровцами? — Холодная, недобрая синева наплыла на сузившиеся зрачки Хорнсруда, придав его плоскому, немного бабьему лицу жесткое выражение.

— Танген всегда был спринтером. У него короткое дыхание.

— Слишком короткое!..

— А ты считаешь, это не может длиться долго?

— Есть хорошая норвежская поговорка: все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать.

— К сожалению, мы с тобой не можем ждать.

— Ты так думаешь? — Ивару почудилась нотка насмешки в тоне, каким Хорнсруд произнес эти простые слова.

— Конечно,— сказал он,— мы с тобой никуда уже не будем годиться.

— А тебя это очень волнует? Сейчас вот, когда кругом такое... Очень тебя волнует, что ты не сможешь ставить рекорды?

— Да! — с силой произнес Ивар. Он встал и, подойдя к Хорнсруду, положил ему руку на плечо.— Послушай, Микаэль, ведь мы с тобой не какие-нибудь сопляки. Мы-то знаем, чего это стоит!.. Отдаешь всего себя со всеми потрохами. Отказываешь себе во всем, семья, жена — все проходит мимо, вся жизнь, как сон, мимо... У меня отец умер в зиму перед войной,— я не видел, как его опустили в землю, потому что в Давосе начинались состязания... Да ты и сам знаешь... К чему все это было? К чему?..

— Что ты хочешь сказать?

— Ничего. Только вот Танген может выступить, может поехать и в Швецию, и в Финляндию, хоть к черту. Он сохранит себя, Микаэль!

— А ты поцелуйся с гитлеровцами, может, тоже сохранишься.

Лицо Ивара затекло тяжелой, темной кровью.

— Пошел ты к черту! — Он резко снял руку с плеча Хорнсруда, прошелся по комнате и бессильно опустился на кушетку.

— Брось, Ивар, я пошутил.

— Уж и пожаловаться нельзя! — смешная, детски-обиженная нотка прозвучала в голосе Ивара.

— Брось, Ивар,— кротко и серьезно повторил Хорнсруд.— Я же знаю, что ты настоящий. Потому я и приехал.— Голос Микаэля зазвучал торжественно.— Вот тебе мое предложение: неофициальное первенство мира на льду Хардвичского озера. Судейская коллегия: учитель Кьерульф. Наставник юношества, он образец беспристрастия. Участники соревнования: чемпион мира тысяча девятьсот тридцать девятого года Микаэль Хорнсруд и экс-чемпион мира Ивар Стенерсен.

Ивар с изумлением глядел на Хорнсруда: так вот он что задумал!..

— Ну как, принимаешь мой вызов?

Ивар крепко стиснул руки Хорнсруда. Верно, и Микаэль услышал

первый звонок, а уходить под сурдинку не хочется. Что ни говори, а настоящий мужчина всегда остается настоящим мужчиной.

— Ты прости меня, Микаель,— сказал Ивар взволнованно,— ведь это я должен был послать тебе вызов.

Хорнсруд засмеялся:

— Сейчас не время для церемоний! Итак, экс-чемпион мира Стерсен, я буду иметь честь встретиться с вами на ледяной дорожке?

— И я постараюсь, чтобы приставка к моему титулу перешла к вам...

Перед уходом Хорнсруд посоветовал Ивару держать язык за зубами, чтобы никто не проведал о завтрашней встрече.

— Я не знаю, как отнесутся власти к неофициальному первенству мира,— сказал, смеясь, Микаель Хорнсруд.

2

Хардвичское озеро лежало посреди долины, километрах в двух от поселка. Дующий с моря ветер не дал снегу укрыть сплошной пеленой его сияющей глади, а тянущиеся от наметов по краям острые языки не могли оказать серьезной помехи бегу. Но ледяная поверхность не была идеально гладкой. Казалось, воды озера сопротивлялись сковывающей силе мороза, местами лед бугрился, кое-где тянулись выпуклые извивы, словно швы на ране. Лед пятнали темно-зеленые и почти синие тени, делавшие его похожим на перламутр.

— Кажется, это будет бег с препятствиями,— заметил Хорнсруд.

— Быть вам, мальчики, без головы,— изрек Кьерульф.— Судейская коллегия заранее снимает с себя ответственность.

Ивар равнодушно пропускал мимо ушей их шуточки. Все его тело было охвачено нетерпеливым, тоскующим стремлением. Он сбросил шубу и остался в плотно облегающем конькобежном костюме. Ветер опахнул его тело, словно облек в прохладные, чуть влажные ткани, пробудив старое, едва не утраченное навеки блаженное чувство сродства простору.

Дистанцию они определили грубо, на глаз. Окружность озера составляла около километра, но поскольку им предстояло бежать значительно отступая от края, они считали круг за пятисотку. Второй забег — десять кругов — соответственно был приравнен к пяти тысячам метров.

Кьерульф поднял руку и дал старт первого забега. Оба сорвались и понеслись по льду, срезая косячки снега, выбивая частую дробь на пупырчатых неровностях, с риском каждую секунду сломать себе шею. Ни тот, ни другой не отличались большой быстротой на коротких дистанциях, но Хорнсруду нужно было более длительное время, чтобы войти в темп.

Ивар вскоре оторвался от него. Он мчался вперед с безрассудст-

вом, и если бы ему грозила даже верная гибель, Ивар и тогда бы не замедлил шага. Он был как пьяный. Когда он подлетел к финишу, опередив Хорнсруда более чем на двадцать метров, Кьерульф встретил его руганью.

— Ты совсем сумасшедший! Я просто смотреть не мог!

Ивар ничего не ответил. Откидывая руки назад, он глубоко втягивал воздух, и все его существо было пронизано острым, щемящим чувством победы.

— Слава богу, что обошлось,— сказал Хорнсруд. Он присел на ледяной валун и, подняв длинную ногу, стал ногтем скрести налипшую на конек наледь.— Ну, Ивар, теперь держись, пять тысяч я тебе так просто не отдам!

«Отдашь,— думал Ивар.— Сейчас во всем мире нет такого, кто бы мог мне противостать».

— Эге, Ивар,— услышал он голос учителя,— да ты, кажется, не умеешь держать язык за зубами.

Ивар медленно поднял голову. К озеру приближалась толпа: мужчины, женщины, дети.

— Уж не думаете ли вы...— начал, покраснев, Ивар, но его прервал Хорнсруд.

— Брось, Кьерульф. Признайся лучше, что сам не утерпел да и шепнул кому-нибудь на ушко.

— Вы... вы думаете...— пробормотал Ивар.

— Брось, Ивар. Конечно, учитель сам проболтался. Захотелось похвастать, что судит мировое первенство.

— Здравствуйте! — сказал подошедший впереди толпы Ларс-китобой. — Мы не слишком поздно?

— Здравствуйте! — ответил за всех Хорнсруд.— Вы немного опоздали. Ивар выиграл у меня пятисотку.

— Слышите,— повернулся Ларс к остальным,— Ивар выиграл пятисотку.

— Лучше бы вы совсем не приходили,— мрачно проворчал Ивар.

— Ну, ну,— примирительно сказал Ларс,— не каждый день у нас в поселке разыгрывается мировое первенство. Занимайте трибуны! — крикнул он толпе.

Люди стали размещаться на валунах, сугробах, некоторые просто сели на корточки, а какие-то сообразительные женщины устроили скамейку, уложив лыжи на два соседних валуна.

— Эге,— заметил Кьерульф,— да у нас тут настоящий стадион. Может, образуем тайную конькобежную лигу?

Длинновязый пьяница, скипер Ольсен, приковылявший вместе со своей маленькой сварливо-энергичной женой, сделал попытку произнести речь.

— Молодцы, ребята. Норвегия остается Норвегией!..

Но жена с силой дернула его за полу куртки. Ольсен покачнулся и захлопнул рот, как игрушечный щелкунчик.

Ни приход односельчан, ни попытки Кьерульфа вышутить все происходящее не могли подействовать на сосредоточенное и глубокое состояние, владевшее Иваром. Он заметил, что и Хорнсруд, удививший его вначале своей небрежностью, как-то подобрался, жесточал. Когда они вышли на старт, Ивар понял, что Хорнсруд решил бороться.

— Марш! — коротко выдохнул Кьерульф.

— Не посрами нашей деревни, Ивар! — заорал Ольсен, вытянувшись на шатких, пьяных ногах, но жена снова дернула его за куртку, и пьяница с размаху сел на лед.

Ивар предложил сумасшедший темп. В другое время он и сам бы счел это несолидным, но сейчас все обычные правила и законы ничего не стоили, он верил, что будет в состоянии выдержать этот темп до конца. Хорнсруд принял темп. Он, что называется, «висел на пятках» Ивара, но его грозный шаг не угнетал Ивара более. Круг за кругом проходили они по пустому, грустному озеру, в напряженной и страстной погоне за несуществующим.

А затем в какой-то момент Ивар почувствовал словно провал за своей спиной. Он подумал, что Хорнсруд начал сдавать, и еще прибавил шагу, стремясь оторваться от соперника. Но провал казался слишком глубоким. Ивар оглянулся. Он увидел спину Хорнсруда, медленно катившего к группе из трех мужчин, вышедших на середину дорожки. Как ни краток был брошенный Иваром взгляд, он узнал в одном из трех мужчин лансмена Крогга, другой был Кьерульф, третьего, в немецкой форме, Ивар не знал. Люди что-то кричали, а маленький, круглый Крогг бурно жестикулировал. Ивару казалось, что ему на лету подрезали крылья. И хотя он всего-навсего притормозил бег, но ощущение было такое, словно, рухнув с огромной высоты, он разбился о землю. Удар отозвался в каждой клеточке тела. Тяжкая истема связала все его члены, в ушах стоял гул, все последовавшее он воспринимал словно в полудреме. Он не понимал смысла слов, которые там говорились, звуки то подступали, то отходили от его ушей, и это напоминало любимое им в детстве развлечение: находясь в толпе, то зажимать, то разжимать ладонями уши; тогда слышишь рокот моря, шест ветра или шум ночного города — что хочешь на выбор...

Он машинально снял коньки, машинально надел кожаные чехольчики на лезвия и машинально побрел вслед за другими в поселок. И только после того, как они вышли из здания комендатуры, Ивар понял, что неофициальное мировое первенство не состоялось.

Ивар взглянул на своих спутников и удивился спокойному выражению лица Хорнсруда. Он подумал, что никто не может ни разделить, ни понять его боли...

В молчании прошли они несколько шагов, Ивар собирался уже повернуть к своему дому, когда Хорнсруд, словно решившись на что-то, положил ему руку на плечо.

— Слушай, Ивар, зайдём на минутку к учителю.

— Ты хочешь... — Кьерульф нахмурился.

— Да,— твердо и как-то очень серьезно, почти торжественно ответил Хорнсруд.

— Ты отдаешь себе полный отчет?

— Да,— с твердой нежностью подтвердил Хорнсруд.

Они говорили так, будто его не было рядом. Ивару смутно казалось, что сейчас происходит нечто очень большое и важное, важное для всей его судьбы, и он не осмеливался вмешаться неловким вопросом. Он только кивнул головой.

А когда вошли и заперли за собой дверь, Микаэль Хорнсруд так сказал Ивару Стенерсену:

— Ты помнишь пословицу, которую я тебе сказал: все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Это очень дурная пословица. К тому, кто умеет только ждать, лишь одно приходит неизбежно — смерть. Остальное может прийти, а может и нет. И в Норвегии не все ждут, Ивар. Не все такие терпеливые...

Хорнсруд на секунду умолк, затем мягко продолжал:

— Ты прости, Ивар, за всю эту комедию с мировым первенством. Это была очень удачная выдумка, чтоб сбить с толку ищек. Понимаешь, мой приезд в эту глушь...

Ивар покраснел:

— Не к чему было заставлять меня валять дурака. Ты бы мог сказать просто...

— Нет не мог. Я не знал тебя.

— Ты не знал меня?

— Я знал тебя раньше, но это не одно и то же. А теперь я знаю тебя, я тебя понял на ледяной дорожке. И признаться, Ивар, меня самого увлекла эта затея. А после проигрыша пятисотки я молил бога, чтоб нам не помешали... Ну и...— он нагнулся в упор. — Ты будешь с нами работать, Ивар?

— С вами? — Ивар поднял голову.

Он словно впервые увидел плоское лапландское лицо Хорнсруда, прорезанное не замеченными им прежде жесткими складками у губ и крыльев носа, на суровое, с темными, недобрыми глазами лицо Кьерульфа, и впервые он показался самому себе маленьким человеком. Он сказал тяжело и как будто с неохотой:

— Что я должен делать?..

3

...Вскарабкавшись на бугор, Ивар замедлил шаг. Те трое позади него не были хорошими лыжниками, а вернее, они просто очень устали. Бог знает, какой они проделали путь, прежде чем оказались в Розенгордском лесу. Микаэль ничего не сказал ему об этом, а он не стал спрашивать. С него было достаточно того, что он знал. Он повторял про себя слова Микаэля: «Это рус-

ские офицеры. Это очень хорошие ребята. Ты даже представить себе не можешь, какие это замечательные ребята. Они бежали из лагеря Лесе, откуда еще ни один не вышел живым. И, понимаешь, ничто не должно помешать им сейчас».

Автомат висел у него за спиной, короткий, с круглым диском и блестящим стволом. Если откинуть крышку диска, то видны медные гладкие головки пуль. Их семьдесят две. Хороший русский автомат, который вручил ему Кьерульф, любовно подержав в своих руках.

Автомат немного ерзал на неплотно пригнанном ремне, непривычная тяжесть оружия приятно возбуждала.

Ивар оглянулся. Русские карабкались на бугор, сильно налегая на палки. Впереди шел сухощавый человек лет тридцати, — видимо, старший по чину. Когда несколько часов назад Ивар встретился в Розенгордском лесу с этими русскими, старший долго всматривался в него, а затем воскликнул:

— Стенерсен?!

Он произнес еще несколько слов, из которых Ивар понял одно: «Москва». Очевидно, этот русский знал его по выступлениям в Москве, куда он приезжал в тридцать шестом году вместе с Хорнсрудом и Тангеном.

Другой был немолодым уже человеком, с кротким, молчаливо сжатым ртом. Из-под шапки выглядывала седая прядь. Третий — совсем мальчик, едва ли старше двадцати лет. Он, верно, не начинал еще бриться: его щеки покрывал нежный юношеский пушок, а на подбородке вилась редкая светлая бородка. Несмотря на темноту, Ивар заметил, что мальчик болен: глаза его нехорошо блестели, а бледная тонкая кожа страдальчески стягивалась у рта.

Они двинулись по бровке глубокого оврага, дно которого тонуло в темноте. Лишь порой там вспыхивали короткие бледные огоньки, словно зажигались и гасли звезды, — то высверкивал обнажившийся местами из-под снега лед замерзшего ручья.

Ивар слышал притомленное дыхание идущих позади него. А когда путь преграждала еловая лапа и он отводил ее, чтобы дать пройти спутникам, то их горячее, натруженное дыхание касалось его лица. Что-то незнакомое поднималось в Иваре, тянулось к этим людям, оставляя после себя тоскующий следок. Быть может, впервые эта одинокая, азартная душа чувствовала себя связанной с людьми не ревностью соперничества, а чем-то совсем иным, большим и добрым...

Когда они выходили из леса на небольшую полянку, Ивар услышал за собой приглушенный говор. Он обернулся. Молоденький сидел на снегу, широко раздвинув ноги, концы лыж уткнулись в снег; товарищи стояли над ним, не то совещаясь, не то споря. Когда Ивар подошел, старший знаками показал ему, что товарищ не может идти дальше.

Сидящий на снегу отвернул чулок, задрал штанину, обнажив бледные, худые голени в страшных радужных разводах.

— Фейер,— сказал он и улыбнулся.

Ивар не сразу понял, что тот хотел сказать. Но затем догадался, что ноги раненого разъедены ожогами.

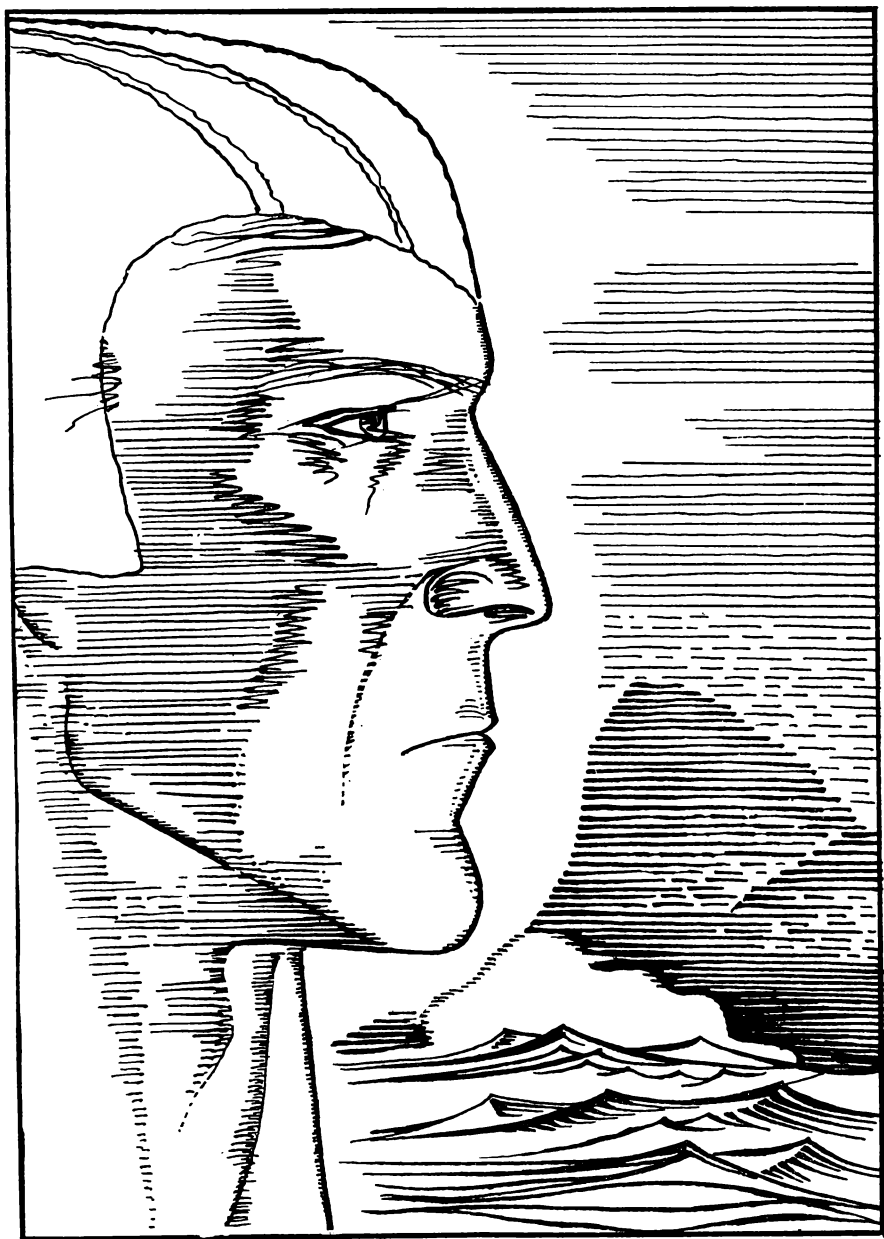
— Как же вы шли до сих пор? — Это нелепое восклицание вывралось у Ивара произвольно. Он смутился, но вспомнил, что те не понимают по-норвежски.

Молоденький все улыбался, словно прося прощение за свою беспомощность. Старший хотел поднять его, но он произнес какое-то короткое слово и протянул руку к большому охотничьему ножу, висевшему на ремне Ивара. Поняв его жест как просьбу, Ивар подал ему свой тяжелый, с широким острым лезвием нож. Но тут молчаливый русский с такой силой перехватил его руку, что Ивар разжал пальцы, и нож бесшумно скользнул в снег. Гневный голос старшего как плетью хлестнул Ивара. «Кажется, я начинаю понимать по-русски»,— подумал Ивар. Он поднял нож, вытер лезвие о куртку и спрятал в ножны. Старший что-то крикнул властно, тоном команды. Ивар заметил, как гневно заходили бугорки его бровей у переносья. Упершись руками в снег, молоденький попытался встать. Старший что-то снова крикнул, резче и повелительней, и молоденький, уже не скрывая боли, мучительным, невероятным усилием вытянулся на своих изуродованных, дрожащих ногах. На лбу его выступила испарина, и зубы обнажились из-под стянутых губ. «Неужели он заставит его идти?» — подумал Ивар и уже хотел вмешаться, когда старший, нагнувшись, подставил раненому спину. Он бросил короткое, злое слово, и раненый послушно обхватил его шею руками. «Нет, кажется, я еще очень плохо понимаю по-русски,— подумал Ивар.— Эти сумасшедшие думают дотронуть его на спине до фиордов. И теперь я готов поверить, что они и в самом деле способны это сделать. Но мы найдем кое-что получше».

Жестом остановив русских, Ивар скинул куртку, отрезал часть шнурков от высоких горных ботинок и привязал рукава и полы куртки к двум лыжным палкам. На эти примитивные носилки уложили больного. Ивар взялся за перед носилок, старший подхватил их сзади. Спускались по отлогой пади оврага, носилки подпирали Ивара в спину, было очень трудно тормозить, но Ивар почти не замечал этого. Он думал о человеке, который вот так, просто, даже с улыбкой, хотел лишиться себя жизни, чтобы не мешать спасению товарищей, и настолько владел собой, что не захотел прибегнуть к револьверу, дабы звук выстрела не привлечь внимание врага...

Когда они вышли из оврага, впереди открылись северные фиорды, повеяло тепловатой влажностью моря, в пустой черноте неба медленно пробегали тени Северного сияния, серебристые и призрачные, как сны.

И вдруг Ивару не поверилось, что из тьмы и пустоты, простершейся, казалось, до края света, действительно придет к этим людям помощь. Тощий серпок месяца чуть освещал укрытую снегом землю, и казалось — на свете нет ничего, кроме тьмы, снега и затерявшихся



между небом и землей четырех путников. Чувство бесприютности, которое и прежде овладевало им вблизи ночного моря, было сейчас особенно острым, оно наполняло его сиротливой жалостью, но не к себе самому, а к этим людям, беглецам. Он оглянулся. Сейчас носилки поддерживал молчаливый русский. Он спокойно и чуть выжидательно взглянул на Ивара, думая, что тот хочет что-то сказать ему. Ивар не заметил в этом взгляде ни малейшей тревоги. А молоденький даже улыбнулся Ивару, не потому, что ему было уж так хорошо, а потому, что ему было очень плохо и он не хотел, чтобы другие это почувствовали. Но и в нем Ивар не заметил тревоги. Очевидно, они твердо были уверены в помощи.

Там, где начинались скалистые отроги, они сняли лыжи и стали медленно спускаться. Тяжелый шорох волн, мертвый и однообразный, только подчеркивал недобрую настроенность тишины. По обеим сторонам от них чернели отроги — иные острыми шпильями врезались в небо, иные, большие, сложные и неуклюжие, были похожи на борющихся медведей. Отроги, словно живые, набегали со всех сторон, замыкая их от всего пространства. Ивар шевельнул плечом, проверяя, на месте ли автомат. Впереди возникла тусклая, светлая полоска, словно огонек за туманом. Полоска шевелилась. Это было море, тонкий блик месяца тихонько колыхался на волнах. Ивар взял вправо. Скоро нога его нащупала мелкую гальку — ложе ручейка. В этом месте предстояло выйти к морю, к пустому морю, где ничто не указывало на присутствие друзей. Ивар сделал знак старшему взять носилки. Затем он снял автомат и двинулся к узкой расщелине, сквозь которую шло русло ручейка.

Тихий тоскливый свист жалобно и долго протянулся в ночи. Словно потайной голос ночи, был он так непроизволен и странен, что Ивар не узнал в первый миг сигнала. А когда понял, то задрожал всем телом и едва сумел ответить на него.

От стены отделилась черная фигура. Ивар шагнул к ней, но тут увидел направленное на себя дуло пистолета.

— Удача с теми... — произнес незнакомец по-норвежски с сильным акцентом.

— ... кто борется, — не совсем уверенно отозвался Ивар.

Дуло пистолета скользнуло вниз, человек в клеенчатом плаще стремительно шагнул вперед и поцеловал Ивара.

Из щели показались еще двое русских и побежали мимо Ивара к носилкам.

— Товарищи! — услышал Ивар слово, смысл которого он теперь понимал. Это произнес молоденький.

Человек, поцеловавший Ивара, тоже бросился к носилкам.

Теперь Ивару оставалось выполнить вторую часть поручения: переговорить с одноглазым. Это не представляло труда. Кьерульф сказал, что одноглазый прибедет с той же лодкой, которая заберет русских. Ивар двинулся вперед и, миновав щель, вышел на берег моря.

У больших гладких камней покачивалась лодка. Лодка была весельная, но на корме поблескивал моторчик. Человек в зюйдвестке что-то чинил в моторе, его лицо было скрыто полями шляпы. Ивар хотел было окликнуть его, но тут со дна лодки поднялась фигура, облаченная в теплый гагачий свитер и гольфы. На месте правого глаза у человека была впадина, приютившая черную тень, но другой его глазок, маленький и блестящий, цепко перехватил взгляд Ивара.

— Здравствуйте! — на чистом северонорвежском произнес одноглазый.

Смутное чувство подсказало Ивару, что человек этот все-таки не норвежец.

— Здравствуйте! — сказал Ивар. — Вас ждут у Розенгордских каньонов.

— Отлично, — отозвался человек. — Больше ничего не будет?

— Нет.

Теперь Ивар мог с уверенностью сказать, что одноглазый не норвежец. В его произношении была какая-то подчеркнутая четкость, показывающая, что язык не был дан ему от рождения. Но если он нездешний, то как разыщет он Розенгордские каньоны в ночи? Розенгордские каньоны расположены неподалеку, но все же надо хорошо знать местность, чтобы их отыскать. Однако Ивару не было поручено провожать человека. Он ограничился тем, что спросил:

— Вы не собьетесь с дороги?

Одноглазый только присвистнул. Он достал со дна лодки большой ранец, видимо очень тяжелый. Ивар заметил, как натянулись постромки, когда одноглазый его вытаскивал. Но незнакомцу легко, привычными движениями устроил груз за спиной и по камням сошел на берег. Чуть пригнувшись, он стал карабкаться по скалитой круче берега. Затем, словно что-то вспомнив, повернул к Ивару зрячую половину лица.

— Вы новый у нас?

— Да.

— Вы хорошо начали. — Он коротко кивнул, несколькими быстрыми движениями одолел подъем и скрылся в темноте...

Молоденького уложили на дно лодки. Старший хотел вернуть Ивару куртку, но тот отказался. «Оставьте ему, чтоб не замерз», — пояснил он жестами.

Старший обнял его.

Молчаливый русский ограничился тем, что крепко двумя руками потряс руку Ивара. Молоденький приподнялся и, сняв шапку, помахал ею в воздухе. Ивар запомнил его улыбку.

Затем к нему подошел русский в широком клеенчатом плаще, не скрывавшем его военной выправки. С ним был человек в зюйдвестке, чинивший мотор. По льдисто-голубым глазам и несколько тяжеловатой нижней части лица Ивар угадал в нем норвежца. И походка у него была утиная, с перевальцем, какая бывает у норвежских шкиперов,

казалось и на земле ощущающих качку. По короткому свету, мелькнувшему в глазах шкипера, Ивар догадался, что тот его узнал. Русский произнес несколько слов и протянул Ивару руку. Шкипер переревел:

— Он благодарит тебя за помощь, оказанную русским офицерам. Он благодарит тебя от лица всей Красной Армии. Он верит в скорое освобождение Норвегии.

— Скажи ему... скажи ему, что меня нечего благодарить. Я обязан им больше, чем они мне. Я из-за них снова себя человеком почувствовал...

Ивар заметил, что шкипер с некоторой неохотой передал его слова русскому. «Чудак, ему кажется, что я роняю себя в глазах русских».

Русский внимательно посмотрел на Ивара и, казалось, что-то понял. Он крепко, до боли, стиснул ему руку...

Ивар несколько минут стоял на берегу, прислушиваясь к затихающим ударам весел. В прибрежной полосе было опасно запускать мотор. Силуэт лодки скоро потерялся в темноте. Кругом была ночь, но теперь она не казалась пустой. В ночь ушла лодка с русскими офицерами, бежавшими из фашистского плена, в ночь ушел одноглазый путник с грозным грузом за плечами, где-то в ночи бодрствовали Хорнсруд с Кьерульфом, в ночи был он сам, сделавший лучшее дело в своей жизни, в ночи были тысячи неизвестных ему братьев, с которыми нерасторжимо связала его судьба. Не зная друг друга ни в лицо, ни по имени, эти тысячи людей образуют единую цепь, спаянную крепче, чем звенья якорной цепи. Ивару чудилось, что он слышит глухой рокот творимых в ночи дел, беспокойный, тревожный, обещающий. Но то было лишь сонное бормотание морских волн, лижущих скалистый отвес берега.

Ивар выбрался с фиорда. Он держал путь в сторону, противоположную его родному поселку. Эту ночь Ивар должен был провести у своего двоюродного брата на ферме. Так решил Хорнсруд, чтобы было чем объяснить ночное отсутствие Ивара.

Где-то вскрикнула споронок птица, ветер всколыхнул снег и понес его легким облачком к морю, но вдруг раздумал и бережно, как мать ребенка, опустил на землю. Простор был огромен и тих, но теперь Ивар знал обманчивость этой тишины, и с легко приподнятым сердцем бежал он по своей неуспокоившейся земле...

4

Брат был немало изумлен его поздним визитом, но Ивар объяснил это тем, что на полпути сломал лыжу и не захотел возвращаться назад. Он показал обломок лыжи.

— Я ведь, собственно, шел к тебе за мазью. У нас в поселке ее днем с огнем не сыщешь. А выходит, мне теперь и мазать нечего.

— Ничего, я дам тебе другие, — утешил его брат, — у меня полный чулан этого добра.

Жизнь в доме брата текла тихая и однообразная. День начинался и заканчивался одними и теми же вздохами, каждый день говорились одни и те же слова, делались одни и те же жесты. Ивару после пережитого им резкого подъема чувств было очень нелегко выдержать это приглушенное, ватное существование. Только одно странное и забавное происшествие несколько всколыхнуло унылое течение жизни. В середине второй ночи Ивар проснулся от сильных толчков в плечо. Брат стоял над ним в одном белье с огарком сальной свечи в руке.

— Мне показалось, что ты опрокинул буфет, — сказал он дрожащим от пережитого волнения голосом. — Мы с Эрной проснулись от страшного грохота.

Ивар засмеялся, и брат, любовно ощупав дубовый безобразный буфет, успокоенный пошел спать.

Забавным было то, что за секунду до его прихода Ивару снилось, будто он снова ведет через лес группу русских пленных, и уже близок конец пути, когда неожиданно под его ногой с грохотом, словно мина, разорвалась сосновая шишка. По лесу прокатился зловещий хохот, и огромный, с сосну, гитлеровский солдат, протянув длинный, как мачта, указательный палец, сказал: «Вот они!».

«Как странно, что и ему и мне в один и тот же момент приснился грохот», — засыпая, подумал Ивар...

Ивар загостился у брата. И то жена его стала тяжелей обычного вздыхать, подавая на стол. Только на исходе третьего дня собрался Ивар домой.

Вечер выдался тихий, погожий. Он долго спорил с ночью, которая, окутав землю сумрачной дымкой, не могла справиться с бледно и ясно голубеющим небом, окрашенным розовым по горизонту. Белесый, неразгоревшийся месяц удивленно плыл сквозь завитые, полднечному светлые и легкие облачка. И хотя и земля, и деревья, и крыши далеких домиков — все было укрыто снегом, в воздухе бродили весенние токи, теплые и влажные. В это время во всех деревушках, поселках, фермах и приморских городах начинали чинить сети и невода, смолить баркасы: близилась пора надежд, волнений, чаяний. В эти дни лед едва заметно смягчал, приобретал пружинность.

Чтобы сократить путь, Ивар свернул в сторону от дороги и зашагал прямо по целине. Под пушистой накладкой недавно выпавшего снега лежали плотно спрессованные пласты, и бежать было нетрудно. А затем Ивар заметил лыжную колею и пошел по ней, радуясь, что кто-то предупредительно подготовил для него легкую дорожку.

Его несколько удивлял необычный вид колеи, неровной, со ступенчатой вдавлиной, как если бы проложивший ее человек был нетверд на ногу и лыжа его не сразу находила твердый упор. А еще дальше от колеи тянулись елочкой короткие отростки, словно человек шел по ровному полю, а поднимался вразножку на гору. Ивара развлекали

эти маленькие наблюдения, он замечал, в каких местах лыжник особенно сильно спотыкался. А раз он даже упал на колени и затем долго отдыхал, опираясь на палки,— круглые ямки от палок достигали черноты почвы. Человек, очевидно, был мертвецки пьян. «Уж не шкипер ли Ольсен совершил здесь послеобеденную прогулку?» — усмехнувшись, подумал Ивар.

Затем колея круто повернула в сторону Розенгордских каньонов. Видать, тут бедняга совсем потерял голову и сбился с пути. Но ведь он мог свалиться в каньоны, разбиться и замерзнуть. Розенгордские каньоны менее посещаемое место, чем кафе «Гранд» в Осло, и едва ли его быстро обнаружат. Смутное беспокойство шевельнулось в душе Ивара. Он вспомнил, что в Розенгордские каньоны пошел одноглазый. Он свернул с пути и быстро побежал по все более неверному, путающемуся и запинающемуся следу.

В этом неверном, размытом следе была какая-то целеустремленность. Лыжник во что бы то ни стало хотел продолжать свой мучительный путь. Рваные лыжи упрямо тянулись к каньонам. А затем Ивар обнаружил между лыжнями глубокие лунки, словно отпечатки копыт. Он нагнулся и увидел на дне лунок продольные желобки. Лыжник опускался на четвереньки и шел, опираясь на кулаки. Затем показались пятна. Пятна были темными. Ивар догадался, что это кровь. Вблизи каньонов человек пополз на животе, его тело оставило на снегу широкую полосу. Ивар увидел запорошенные снегом лыжи, которые человек снял, чтобы они не мешали ему ползти. Широкая полоса круто обрывалась вниз. При своем падении человек содрал весь снег с ребра каньона. Обнажилась темная каменистая порода. Противоположная стена каньона, изрезанная глубокими продольными щелями, была похожа на шишковатые головы выстроившихся в ряд слонов с массивными хоботами. Ивар нагнулся. Человек лежал на дне оврага ничком, распластав вывернутые в кистях руки. Ивар скользнул по стенке каньона вниз. Он взял мертвеца за окостеневшее плечо и повернул на спину. Легкий свет месяца спокойно разлился по широкому, плоскому, лапландскому, немного бабьему лицу Микаеля Хорнсруда.

...Было за полночь, когда Ивар постучался у дверей Кьерульфа. Ему тотчас же открыли. Старый учитель стоял в одном белье и шубе, накинутой на плечи. Видно, он поджидал кого-то другого, потому что лицо его выразило недоумение и разочарование.

— Хорнсруда убили...

Большая рука учителя рванулась к его горлу, словно желая задушить, но, не завершив движения, бессильно упала. Кьерульф ничего не сказал, не усомнился, он только стоял и мерно покачивался — вперед-назад...

Ивар рассказал, как он обнаружил труп.

— Я знал, что этим кончится. Он всегда брал на себя самое рискованное. Зачем только ему разрешили?.. Ох, Микаель!.. — Слабая, по-

терянная улыбка скривила рот Кьерульфа, крупные слезы потекли по буграстым щекам.

— Надо предать тело земле. Я не мог справиться один...

Учитель ладонями отер щеки:

— Мы сделаем это без тебя...

— Но...

— Ты пойдешь домой. Тебе скажут, когда можно выходить. Понятно?

— А что, напали на след?

— Если тебя возьмут, то помни одно: молчать и не показывать вида, что догадываешься о причине ареста.

Слово было произнесено. Теперь Ивар знал, что его ждет. Он окинул взглядом комнату: грубую удобную мебель из соснового дерева, полку с пивными кружками, старую качалку с плетеной спинкой, обкуренные трубки на столе. Эта комната была первой из потерь. Затем он потеряет знакомую дорогу с ее перелесками, церковной стеной и широким простором за ней...

— Прощайте, Кьерульф,— произнес он с ударением, чтобы показать, что он все понял и поступит как должно.

Учитель рассеянно махнул рукой. Ивар ждал чего-то другого. Ему стало грустно. Напрасно он говорил себе, что известие о смерти Микаеля вытеснило из сердца Кьерульфа все другие чувства, ему было очень печально. Он медленно, с сознанием того, что все это делает в последний раз, прошел узенький коридорчик и вышел на крыльцо...

5

Он знал, что за ним придут. Днем в поселок прибыло несколько черных, наглухо закрытых автомобилей. Эсэсовцы оцепили окраину, по улицам мерно зашагали патрули, сам воздух отяжелел, как в предгрозье. Забывшая днем фру Ольсен рассказала, что в Северном фиорде взорвался немецкий транспорт с каким-то важным грузом, а накануне взрыва была произведена попытка высадки русского десанта. В последнем сообщении, как всегда перевранном и преувеличенном людской молвой, Ивар угадал события, свидетелем которых он был. Но первое заставило его крепко задуматься. Он вспомнил странный сон, привидевшийся ему, и постепенно разрозненные события последней ночи соединились в одну не до конца ясную, но довольно четкую картину. Приезд одноглазого, свидание в Розенгордских каньонах, ночной взрыв, труп Микаеля опять-таки в Розенгордских каньонах были яркими пятнами этой картины, воображение без труда заполнило пустоты. И когда он додумал все это, им овладело странное, напряженное и злое спокойствие. Исчезла печаль скорого расставания, тревога за собственную судьбу, и лишь настойчиво маячило перед глазами плоское, широкое лицо с черным засохшим срупом разбитого при падении рта.

А затем мелькнула мысль. Пустычная, ребячливая мысль, но она превратилась в огромное, нетерпеливое желание. «Какой пустяк,— пытался убедить себя Ивар,— глупый, ничтожный и опасный пустяк». И вместе с тем мысль его лихорадочно работала над тем, как осуществить этот пустяк.

Дагни лежала в постели. Он ей ничего не сказал, она ни о чем не спрашивала. И все же он был уверен, что она все знает. Она лежала в постели, зябко укрывшись до самого подбородка.

Поскорее бы они пришли... По правде сказать, ему хотелось сделать совсем другое: взять топор и... Он ясно и щекотно чувствовал в ладони тяжесть удара. Но он не принадлежал себе. Его не стоящая гроша жизнь прилепилась теперь к такому большому и важному, что он уже не мог ею распоряжаться. Он не мог убить эсэсовца, потому что этим показал бы свое подлинное лицо. А за ним развернулась бы целая цепь. Его дело молчать и не показывать вида...

Но то, что он задумал, он сделает — настолько еще он располагает собой.

...Дробно ударили каблуки по сосновым доскам крыльца. «Молчать и не подавать вида». Дверь распахнулась. В комнату неуклюже, словно чувствуя стеснение, шагнули два солдата. Они стали у двери, большие и ненужные, словно выходцы с другой планеты. От их сапог очень сильно пахло.

— Что это значит? — произнес Ивар, поднимаясь. — Почему вы вторгаетесь в мой дом?

— Об этом вы узнаете в комендатуре, — ответил по-норвежски офицер, входя в комнату. Офицер был молод и высок, с тонким, вытянутым вперед лицом. Он напоминал доberman-пинчера, но в тонкости его черт не чувствовалось породы.

— Как вы смее... — Ивар сделал шаг к офицеру.

— Ивар! — тихо сказала Дагни. Верно, она что-то уловила в его интонации.

В комнату вошли еще двое, с унтерскими нашивками. С неожиданным проворством они принялись выдвигать ящики, рыться в бумагах, обшаривать все уголки. Коснувшись околыша фуражки, офицер попросил Дагни подняться.

— Моя жена больна, — сказал Ивар.

Офицер бросил на него холодный короткий взгляд.

— Прошу мадам немедленно подняться. Не заставляйте нас прибегать к силе.

— Я же не могу... при мужчинах, — пролепетала Дагни.

Офицер усмехнулся и отвернул лицо.

— Здесь не пансион для благородных девиц, — процедил он сквозь зубы.

— Скажите вашим солдатам, чтобы они тоже отвернулись. — Ивар действовал добросовестно, он хотел иметь настоящий повод.

Офицер ничего не ответил, лишь передернул плечами.

— Мерзавец! — сказал Ивар.

Теперь он считал повод достаточно веским: каждый муж обязан защищать свою жену от оскорблений. Он почувствовал, как смялся под его кулаком тонкий хрящ носа. Офицер отлетел к стене. Падая, он схватился руками за лицо. Кровь побежала между пальцами. «Какая жалкая месть», — подумал Ивар. Он не оказал никакого сопротивления бросившимся на него солдатам. Но те от излишнего усердия довольно долго провозились, пока скрутили ему руки за спиной.

— Все в порядке, — очень спокойно сказал Ивар, глядя на офицера, который, повиснув между двумя солдатами, с ужасом ощупывал пальцами разбитое лицо. — Ты не бойся за меня, Дагни...

6

Странно, но он шел на это с каким-то любопытством. Правда ли то, что рассказывали о застенках гестапо? Его ввели в небольшую комнату с побеленными стенами, напоминавшую приемный покой. Сходство усиливал человек в белом халате, видимо, врач, сидевший за маленьким столиком, покрашенным белой масляной краской.

— Раздевайтесь, — сказал врач. — Совсем, — добавил он, мельком взглянув на Ивара.

Ивар повел лопатками, когда холодный кружок стетоскопа коснулся спины. Вспомнился доктор Клингель, добрый старый хрыч, через руки которого прошел чуть не десяток поколений спортсменов. Холодные, скользкие пальцы врача с грубой бесцеремонностью ощупывали его тело.

Да, это не Клингель, что и говорить! Врач кончил осмотр и что-то отметил в клеенчатой тетради. Высокий капитан СС бросил взгляд через плечо врача, мельком окинул фигуру Ивара и с оттенком не то уважения, не то зависти проворчал:

— Иначе и быть не могло...

Врач спрятал стетоскоп в карман халата и, закурив, отошел в угол. Капитан СС хлопнул в ладоши. Ивар усмехнулся. В этом церемониале было что-то глубоко провинциальное, злодейство из детективного романа. Вошли три парня в солдатских брюках и сапогах, в нижних рубашках, без мундиров. За ними еще один — штатский, похожий на боксера из кинофильма: низкий лоб, большая челюсть, волосатые кисти.

... — Ну как? — спросил капитан СС, когда Ивару помогли стать на ноги.

— Некрасивая у вас служба.

— Какая есть. Не желаете повторить?

— Скажите, — медленно, потому что он плохо слышал свой собственный голос и боялся оговориться, произнес Ивар, — неужели есть мужчины, на которых это действует?

— Вы сейчас убедитесь в этом,— без всякого выражения сказал капитан СС.

И все же его щадили. Он это понял через несколько дней, когда после очередной экзекуции его вели в камеру. В коридоре он встретил заключенного, у которого было сорвано все лицо. Ни носа, ни губ, ни бровей — сплошной черный струп. Для этих людей не было предела. Но что же в таком случае скрывается за этой снисходительностью к нему, Ивару? Объяснение пришло в лице высокого, очень стройного капитана в новой, с иголочки, форме СС. Ивар лежал на подстилке лицом к стене, но краешком глаза он мгновенно охватил сильную фигуру, гладко выбритое лицо, голубые тени под глазами, тонкую, словно мазок угля, полоску усов над красивым, немного женственным ртом экс-чемпиона мира Гарольда Тангена.

Странно, в первый момент он не почувствовал никакой ненависти. Только маленькая камера стала еще меньше и душней, словно вошедший вытеснил весь воздух.

Танген остановился, несколько секунд молча глядел на Ивара, сморщился и чуть не до крови закусил губы.

— Боже, что они с тобой сделали?! — Искреннее сострадание звучало в его голосе.

— Они? — тихо повторил Ивар.

Танген склонился над лежачком:

— Ты говоришь о моей форме? Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что вы одни правильно служите Норвегии. Надеть эту ненавистную форму, казаться покорным и смирившимся, а на деле неуклонно вести свою линию, обуздывать захватчиков, не дать им подавить наш национальный дух — полагаю, это более верный способ сохранить Норвегию, чем устроить побег нескольких пленных. Уверю тебя, дорогой мой, ваш метод только озлобляет бошей.

Так вот оно что! Танген хочет его вызвать на спор. Невысокого же мнения о нем Гарольд, нечего сказать!

Гарольд Танген заговорил горячо:

— Тебя много мучили. Я понимаю твое недоверие. Но ведь меня-то ты знаешь?

Ивар с усилием приподнялся на локте и сказал серьезно и вежливо:

— Не имею чести быть с вами знакомым, господин Квислинг.

Танген отпрянул. Его тонкие губы дрогнули. Ивар впервые настоящему увидел Тангена: тщеславие, слабодушие, жестокость... И тут он понял, что сделал ошибку, едва не выдав себя Тангену. Имел ли он право испытывать себя на пределе человеческих сил? Ведь он рисковал не только собой. Кто знает, какие еще средства имеются в их распоряжении? Все это мелькнуло в его сознании очень быстро и сразу вылилось в решение.

— Прости, Гарольд,— проговорил он печально,— я столько перенес...

Короткий огонек торжества мелькнул в глазах Тангена, но тотчас погас, сменившись выражением оскорбленной добродетели.

— Я пришел к тебе с добром, Ивар.

— Это правда, Гарольд? — Ивар приподнялся, жадно вглядываясь в Тангена. Синие глаза Тангена опрозрачнели до глубины, чище горного ключа. — Я верю тебе, Гарольд. Можешь ты оказать мне большую услугу?

Ивар внимательно следил за Тангеном. В нем все — душевное участие. Ни любопытства, ни нетерпения.

— Говори, Ивар. Я сделаю все, что в моих силах.

— Мне нужно одно...

Танген сделал предостерегающий знак.

— Не забывай о моем положении. Я готов на все для тебя, но не для других. Ты видишь, я с тобой откровенен.

«Даже больше, чем ты думаешь, милый друг, — подумал Ивар, — нельзя так грубо переигрывать».

— Скажи, Гарольд, в чем настоящая причина моего ареста?

Удивление Тангена на этот раз было неподдельным.

— Помогать бегству пленных русских — это еще не причина?

— Фу, — с облегчением произнес Ивар. — Значит, действительно это. Гораздо лучше быть обвиненным в грехах воображаемых, чем настоящих.

Танген был сбит с толку. Он не мог скрыть раздражения.

— Ты хочешь сказать...

— Что я понятия не имею ни о каких русских! Я думал, тут дело совсем в ином... — Ивар рассказал Тангену о неофициальном первенстве мира.

— Понимаешь, нам тогда помешали, но... — Ивар понизил голос до шепота, — мы хотели довести дело до конца. Я думал, что Микаэль кому-нибудь проболтался, и меня взяли. Ох, и посылал же я ему чертей на голову! А ведь, знаешь, я вырвал у него пятисотку...

Когда Ивар произнес имя Микаэля, Танген насторожился, но затем на лице сквозь маску участия все отчетливее проступало выражение высокомерной скуки. Он даже стал небрежно и нетерпеливо подкивать Ивару, словно хотел сказать: «К чему лишняя болтовня? Ты же всегда был таким недалеким малым...»

После визита Тангена его вызвали всего лишь один раз. Все произошло как обычно, но обострившееся чутье Ивара подсказало ему, что гестаповцы несколько «охладели» к нему. Очевидно, его разговор с Тангеном сыграл в этом не последнюю роль. Ивар решил, что в его судьбе должна наступить перемена. И действительно, через несколько дней он трясся в товарном «арестантском» вагоне. Большинство его товарищей по несчастью совершенно искренне не догадывались о причине своего ареста.

То, что его, Ивара, отнесли к категории преступников столь невысокого ранга, служило хорошим признаком.

Он устроился поудобнее на соломенной подстилке и стал глядеть на крошечное зарешеченное окошко, за которым нежно голубело небо. Никогда еще пустое небо не казалось ему таким красивым. Оно меняло свою окраску: то нежно-голубое, чуть мерцающее, то синь синью, когда не видимые глазом горы или деревья закрывали солнце, то прозрачно и бесконечно золотистое, когда окошко поворачивалось к солнцу.

А если прищурить глаза, то небо обращалось в море, белые облака — в стаи гагар, и по этому морю Ивар отплывал в далекое плавание...

И он думал: «Какое счастье видеть все небо, весь огромный и чистый свод!». С тех пор мысль об освобождении стала для него мыслью о небе, которое вновь принадлежит ему.

...Когда же весной 1945 года Ивар выходил из лагеря, небо было пасмурным, в тяжелых серых тучах. Да он и не смотрел на небо. У ворот его поджидала Дагни. Он еще издали увидел ее тонкую фигуру в короткой оленьей шубке, но не поверил, что это она, пока не коснулся губами ее опавшего, побледневшего лица.

Она была первой, теплой, живой, чистой и благоуханной плотью, которую он осязал, выйдя из грязного, жесткого, полного острых углов лагерного мира, и он принял ее как чудо.

Позже, уже в купе поезда, Ивар спросил:

— Как же ты узнала, где я?

— У меня оказались неизвестные друзья. Я уж и не знала, что подумать, когда однажды ко мне явился какой-то незнакомый человек и сказал, что ты жив. Он был такой страшный, что я вначале испугалась. У него вместо правого глаза глубокая черная дыра. Он сказал: «Ваш муж молодец» — и назвал лагерь, где ты находился. А я ответила: «Я всегда знала, что Ивар молодец...».

— Ну, какие пустяки,— сказал Ивар.

Так это был одноглазый! Значит, ему удалось спастись! Вот это парень! Откуда только они все знали? Вот было бы интересно когда-нибудь с ним встретиться! Хотя и учитель Кьерульф не последняя спица в колеснице.

— Кьерульф убит,— словно угадав его мысли, сказала Дагни.— Наши все были очень удивлены: оказалось, что учитель чуть ли не глава северной группы сопротивления. Когда за ним пришли, он стал отстреливаться, а потом подорвал себя гранатой...

Позже, когда стемнело, они лежали на узком диванчике купе, Дагни ощупывала руками его тело. Словно слепой, по незнакомым буграм, вдавливая, шрамам, осклизав ожогов она читала его историю.

— Что они с тобой сделали!..— твердила она тяжелым от слез голосом. Она так хорошо знала его чистое, крепкое, холеное тело спортсмена с нежной, как у девушки, кожей, под которой, так легко осязаемые, упруго бугрились мышцы, и эти безобразные следы насилия воспринимались ею как страшное, чудовищное кощунство.

Ивар смеялся и уже мокрой рукой старался вытереть слезы с ее щек. Он никогда не чувствовал к ней такой нежной и острой близости, он был смущен, растроган, огорчен и очень счастлив. И она хотя и плакала, но была счастлива. Всю жизнь была она с ним так бережливо сдержанна, как с дорогой вещью, взятой напрокат. Он всегда был добр и справедлив к ней, но его неумная страсть, боль, радость и нетерпение были отданы другому. Она мирилась с этим, любя даже то ощущение прохладной отдаленности, которой веяло от него. Но сейчас она впервые почувствовала, что он безраздельно принадлежит ей, и чтобы закрепить приобретенное счастье, она приподнялась над Иваром, заплаканная, с растрепанными волосами, и сказала, некстати подтеки всхлипнув:

— Ты теперь будешь всегда мой... только мой...

7

Зимой 1945 года Тронхеймский конькобежный клуб послал приглашение русским спортсменам, приехавшим в Осло на состязания, принять участие в борьбе за большой тронхеймский кубок. Приглашение подписал почетный председатель Тронхеймского клуба экс-чемпион мира Ивар Стенерсен. Советские спортсмены приглашение приняли, и вскоре в Тронхейм прибыла команда в составе трех мужчин и трех женщин. Среди мужчин лучший спринтер страны Кудрявин и экс-чемпион Семенов. Третий — молодой мастер из знаменитой в свое время семьи Платоновых. Среди женщин Ивар знал только одну — Каверину. Когда он в 1936 году приезжал в Москву, Каверина выступала по группе девушек. Она была тоненькой, светловолосой, с удивленными глазами, а сейчас стала крупнокостной, большой женщиной, с широким, сильным тазом и по-мужски плоской грудью. У нее серые холодноватые глаза, глубоко упрятанные под крепкой лобной костью. Когда Ивар увидел ее мощную стать и упрямый, напористый взгляд, он уже не сомневался в том, кто возьмет первенство у женщин.

Маленькая, похожая на детскую резиновую куклу чемпионка Ленинграда Алсуфьева, бывший чемпион Советского Союза, считалась наиболее вероятной претенденткой на второе место. Трудно было понять, откуда у нее берутся силы. При беге у Алсуфьевой делалось страдальческое выражение лица, но заканчивая дистанцию, она дышала ровно и спокойно. Вообще у русских было замечательно поставлено дыхание, в особенности у Семенова, стиль которого, своеобразный, внешне тяжеловатый, казался удивительным для норвежцев.

Третьей участницей команды была Малахова, красивая девушка, лет двадцати двух, замечательно сложенная. Но безошибочным чутьем Ивар сразу отнес ее в разряд середняков.

Вообще, что касалось призовых мест у женщин, то тут не могло быть сомнений. Маленькая Торвальдсен, нынешний чемпион, бегала

на коньках всего второй год; ее действительно незаурядные способности разбивались о недостаток физической силы и отсутствие опыта больших состязаний. Эрна Торвальдсен даже не собиралась пробовать силы в беге на три тысячи метров. Дагни Андерсен с удивительным постоянством проигрывала Торвальдсен на всех дистанциях. Оставалась, правда, Верне Никвист, финка, выступавшая за норвежцев. Ее называли «вторым коньком мира». Это была крупная, дородная женщина с гладким белым лицом, как будто облитым кремом. Когда она стояла на старте, повязанная по талии цветной лентой, чуть отведя назад руки и оттянув книзу зад, она походила скорее на хозяйку, священнодействующую у кипящих блюд, чем на скорохода. Но это впечатление пропадало, как только Верне Никвист начинала бег. Она была на редкость вынослива, трудолюбивым усилием проносила она рыво свое большое тело на любой дистанции.

Соревнования начинались с женских забегов. На пятисотке лучшее время показала маленькая Алсуфьева, за ней шли Торвальдсен и Малахова, Каверина и Никвист показали одинаковое время, довольно неплохое для стайеров. Замыкала список Андерсен. Русские получили перевес, но большинство зрителей было уверено, что в мужских забегах победят норвежцы.

Первыми вышли на старт два длинноногих спринтера: Огге Педерсен и Анатолий Кудрявин. Огге выиграл последнее первенство Норвегии за счет коротких дистанций. Он был скороходом типа Тангена: порывистый и темпераментный. Заняв в беге на десять тысяч седьмое место, Огге по сумме очков оказался впереди не только пожилого рекордсмена стайерских дистанций Олафа Христиансена, но и неизвестного до войны, лишь недавно вышедшего в первый ряд Сверре Нильсена, фаворита Ивара.

Пятсот метров — нервная дистанция, в ней многое зависит от первого рывка, здесь нельзя ни секунды потерять на старте. Не удивительно, что у обоих случился фальстарт. Сперва у Педерсена, затем у Кудрявина. На трибунах заволновались, зрителям передалось нервное состояние бегунов. Кудрявин вернулся к стартовому флажку и, улыбнувшись, что-то сказал сумрачному Педерсену. У Кудрявина было маленькое, несоразмерное росту лицо и огромный хрящеватый кадык, словно он раз и навсегда поперхнулся куском яблока.

В третий раз шелкнул выстрел стартера. Сухо застучали по льду коньки. Разбег — и вот оба мчатся частым, энергичным шагом, сильно работая руками. Казалось, Кудрявин идет без всяких усилий. Но на первых порах его легкость не могла противостоять темпераменту Огге. Бег повел Педерсен. Оба красиво миновали поворот, но Педерсен, шедший очень скупно, по самой бровке, еще несколько увеличил свой выигрыш. Весь круг сохранял он преимущество, но по выходе с последнего поворота Кудрявин сделал рывок и финишировал, опередив Огге метра на полтора. Это вышло так неожиданно, что все растерялись. Недоумение читалось и на лице Огге. Он совершенно не допус-

кал, что может быть побит на своей коронной дистанции. Только один Кудрявин не казался удивленным. Он пожал руку Огге и, деловито дворя кадыком, покотил к раздевалке.

Педерсен заметил своего тренера, стоявшего рядом с Иваром, и приблизился к ним, недовольно покачивая головой.

— Ни черта не пойму,— говорил Огге Педерсен тренеру,— просто ерунда какая-то! — Он с раздражением откалывал кусочки льда концом конька.

— Ты возьмешь реванш на тысяче пятьсот,— в тоне Ивара звучала просьба.

— Только держи ухо востро,— посоветовал тренер.— От этих русских можно ожидать всяких сюрпризов.

Раздались аплодисменты. Сверре Нильсен, шедший в паре с Платоновым, финишировал первым.

— Результат похуже моего,— усмехнулся Огге.

— Посмотрим, как ты пойдешь на пять тысяч,— веско сказал Ивар.

В последней паре шли Олаф Христиансен и Семенов. Оба большие, грузные, типичные стайеры, они шли очень старательно, но их усилия не претворялись в скорость. Манера Семенова выглядела особенно тяжеловесной и необычной. Он очень мало сгибался и в каждый толчок вкладывал чрезмерно много силы.

— Олаф побьет,— авторитетно заявил Огге.— Разве это стиль? Бегуны конец в конец вышли на последнюю прямую.

— Ты плохой пророк, Огге,— заметил Ивар.

Огге обернулся, но не успел ответить. Олаф Христиансен и Семенов почти одновременно пересекли черту финиша. Семенов был на конек впереди.

— Как видишь, дело не только в стиле, но и в характере,— сказал Ивар. Однако его огорчило это новое поражение.

После перерыва женщины бежали на три тысячи метров. Здесь блеснула Верне Никвист. Она не только опередила бежавшую с ней в паре Малахову, но и показала отличное время — лучший результат сезона. Ей долго аплодировали с трибун. Соревнования были второстепенные, и никто не рассчитывал на рекордные показатели. Верне не только обеспечила себе третье место, но становилась очевидной претенденткой на специальный приз. Ивар подошел поздравить ее. Финка вытирала лицо цветным платком. От нее пахло жаром и здоровым потом. Успех Верне был тем более несомненен, что Каверина из-за отказа Торвальдсен должна была бежать одна. Когда же бежишь один, то очень трудно рассчитывать на высокий результат.

Ивар вначале даже не глядел на одинокую женскую фигуру, резкими, мужскими движениями резавшую лед. Он был удивлен, когда диктор объявил, что Каверина прошла первые пять кругов с временем на три секунды лучше Никвист. Диктор повторил по-русски результат.

Лубенцов, тренер Кавериной, подал ей какой-то знак. Наверно, он напоминал о графике. Ивар заметил упрямое движение головой, сделанное Кавериной.

— Неужели она пойдет на рекорд? — сказал Якобсен, тренер Сверре Нильсена, взяв Ивара под локоть.

— А почему бы и нет? — с вызовом отозвался Ивар.

— Здесь-то?.. — насмешливо протянул Якобсен.

Ивар резко вырвал локоть. «Дурак! — хотелось ему крикнуть. — Разве только в Осло или в Давосе можно ставить рекорды? Где же нам вернуть форму при таком отношении к делу?!»

И вместе с тем он сам был не очень уверен, что Каверина пойдет на установление нового рекорда. Ивар подошел к дорожке. Каверина выходила из виража, сильно работая рукой. Затем она снова заложила руку за спину. Тренер Кавериной что-то отметил в блокноте и снова подал ей тот же знак, раз и другой. Каверина кивнула головой коротко и упрямю. Тренер повернулся и стал рядом с Иваром. Губы его нервно подергивались, он пристально глядел на хронометр, словно пытался взглядом сдержать бег стрелок. Ивар почувствовал, что решение принято. Трибуны притихли. Оставалось еще два круга — таких огромных, когда они последние...

Каверина приближалась своим размашистым, мужским шагом. Лицо ее было устремлено вперед, глаза ушли далеко в глубь орбит, под лобными пазухами лежали темные щели.

— Руки! — крикнул тренер сорвавшимся голосом.

Каверина сняла руку со спины и принялась размахивать ею, словно загребая воздух. Ивар искоса взглянул на тренера: «Черт возьми, смело!..».

Люди повскакали со скамей. Голос диктора, объявившего, что Каверина пошла на последний круг, потонул в тысячеголосом реве:

— Каверина-а-а-а-а!...

Верне Никвист в накинутой на плечи лисьей шубке вышла из раздевалки и с вялой улыбкой на кремовом лице подкатила к дорожке.

— Меня бьют? — спросила она с обычной равнодушной, немного тягучей интонацией.

Каверина пустила в ход обе руки. Кудрявин и Семенов побежали к повороту... Тренер сел на корточки, недовольно причмокнув. Крупное тело Кавериной чуть обмякло. Она шла очень низко нагнувшись; казалось, что ее длинные руки зацепят за лед. И снова тренер повторил свой настойчивый, властный жест. Словно светлый луч блеснул из темных щелей глазниц Кавериной, весь стадион отозвался согласным вздохом на ее последний рывок. Судья резким движением опустил флажок. Мировой рекорд был побит...

Но затем соотношение очков несколько изменилось: Отге взял реванш у Кудрявина на пять тысяч метров, Христиансен выиграл у Платонова. В случае победы Нильсена над Семеновым у норвежцев появлялись шансы отбить кубок.

Когда щелкнул выстрел, у Ивара похолодело лицо. К нему обращались с вопросами, но он только невпопад кивал головой.

Своеобразный шаг Семенова теперь не вызывал недоумения, все знали его скрытую силу. Сверре шел обычным норвежским шагом, но его хлесткая работа на поворотах плохо сочеталась с несколько вяловатым, хотя и старательным бегом на прямых. Глядя на Сверре, хотелось крикнуть: «Быстрее!».

— Сверре еще не нашел себя,— с обычной самоуверенностью сказал Педерсен.

Ивар сердито обернулся, но промолчал.

На середине дистанции Сверре Нильсен вырвался вперед.

— Не частей! — крикнул Ивар, когда Сверре поровнялся с ними.

Лицо Нильсена было кумачово-красным, он несколько раз поднес перчатку ко рту. Якобсен, тренер Сверре, покачал головой.

— Как у него с дыханием? — спросил Ивар.

Якобсен пожал плечами. Ивар с отвращением поглядел на его плотную фигуру и толстый бугор на затылке, налитый тяжелой темной кровью. Якобсен казался ему равнодушным и безучастным. Якобсен слишком много лет работал тренером и основательно позабыл пору собственных волнений.

Семенов шел все так же равномерно. Руки его, казалось, приросли к спине, положение фигуры оставалось неизменным; было совершенно не заметно для окружающих, что с каждым кругом он все ближе подходил к Нильсену. Вот он уже поровнялся с ним, на повороте несколько отстал, на прямой снова подтянулся, а при перемене дорожек, идя по большой, он раньше вошел в поворот и почти ничего не потерял при выходе.

Целый круг шли они почти рядом, Нильсен впереди на каких-нибудь два-три метра, но это значило, что Нильсен уже проигрывал несколько метров, потому что теперь Семенову предстояло идти по маленькой дорожке. Но Нильсен не думал сдаваться, он нажал и увеличил просвет. Это стоило ему больших усилий, теперь отчетливо сказывался его недостаток: слишком большая отдача при толчке. Он еще сохранял преимущество, но Ивар очень хорошо понимал то ощущение бескрылости, когда затрата силы не рождает скорости,— ощущение, которое, должно быть, владело Нильсеном. И все же в Нильсене чувствовался борец. Когда они выходили на последний круг, он сделал яростную попытку настигнуть Семенова. Но и Семенов сделал рывок, у него был злой, жесткий толчок. Наконец он пустил в ход руки,— этот добавочный резерв скорости он хранил до самого конца. Сверре проявил немалое мужество, но догнать Семенова уже не мог. Он выжил до конца и проиграл всего лишь несколько секунд.

...Домой Ивар вернулся мрачным.

— Это не состязание, а какое-то избивание младенцев,— сказал он в ответ на молчаливый вопрос Дагни.

— А Нильсен?

— Лучше других, но тоже...

Как и всегда, спазмой в горле пришло прошлое: молодость, победы, победы — в Осло, Тронхейме, Москве, Давосе, Стокгольме, когда он нес к финишу свою Норвегию с голубыми фиордами, соснами, селитряным запахом сушеной рыбы, солоноватостью воздуха, впереди всех нес ее, милую землю своих отцов...

В дверь тихонько постучали.

— Войдите, — словно очнувшись, произнес Ивар.

Дверь отворилась, вошел рослый, средних лет человек в пушистом пальто «реглан» и мягкой велюровой шляпе. Ивару показалось, что он где-то видел его.

— Здравствуйте! — сказал вошедший с заметным акцентом. — Вы не узнаете меня? Лубенцов, тренер Кавериной.

Ивар пожал гостю руку. Он очень рад. Он хотел выразить ему свое восхищение по поводу его подопечной. Видна большая тренерская работа. Очень смело она шла. Очень... Гость едва заметно улыбнулся.

— Видите ли, у каждого человека есть своя сила и еще немножечко, но не каждый знает о существовании этого «еще немножечко». Каверина знала...

Но ему хотелось поговорить с Иваром не о Кавериной, а о Нильсене. Это, несомненно, очень способный парень. Но ему кажется, что манера его бега не совсем соответствует данным Нильсена. Чувствуется, что он не использует всей своей силы.

Ивар осторожно согласился. Он не совсем понимал, чего хочет этот русский. Ведь если Лубенцов интересуется Нильсеном, то не лучше ли ему обратиться к Якобсену, тренеру Сверре? Не желая обидеть гостя, Ивар несколько туманно высказал свои соображения. Тот слушал, чуть сдвинув седоватые брови. Затем он несколько секунд шевелил губами, повторяя про себя сказанное Иваром и переводя это на более понятный ему язык. Наконец он ответил четко, словно по пунктам.

Он хочет, чтоб из Нильсена вышел новый Стенерсен. Он пошел к Ивару, потому что очень хорошо видел, кто был самым заинтересованным участником соревнований. И это ему нравится. Он знает, что Ивар отверг предложение ехать за океан в качестве тренера, и это ему тоже нравится. Но ему не нравится — да простит Ивар, — что у себя на родине тот не нашел настоящего дела. Якобсен — не тот тренер, что воспитывает чемпионов.

— Скажите, что вы думаете о стиле Семенова? — неожиданно спросил Лубенцов.

— Я думаю, раз он приводит к таким результатам, очевидно, он хорош, — уклончиво ответил Ивар. — Но, кто знает, будь он иным, не добился бы Семенов еще большего?

— О нет! — воскликнул Лубенцов. — Вы не представляете, чего стоило Семенову найти свой стиль! Он был бы самым заурядным бегу-

ном, если бы не нашел его. А теперь трудно отыскать человека, который мог бы выиграть у Семенова на длинных дистанциях.

— Да,— согласился Ивар, но сам он думал о том, что если бы скинуть последние пять лет, он мог бы поспорить с Семеновым.

— Вы не находите, что у Нильсена есть нечто общее с Семеновым? Почему бы ему не перенять кое-какие элементы его стиля, например шаг на прямой? Да и вообще, этот плывущий шаг — подходит ли он Нильсену?

Все, что Лубенцов говорил, соответствовало многим мыслям самого Ивара. У Ивара было такое чувство, словно кто-то взял его сердце, как птицу, меж двух теплых ладоней, но затем ладони словно сжались, вызвав если не боль, то неудобство. И он сказал почти грубо:

— Скажите, а вам... зачем вам все это надо?

— Что — это? — Чуть надменное удивление мелькнуло в тоне Лубенцова.

— Да вот с Нильсеном,— угрюмо пояснил Ивар.

На лбу Лубенцова лучами от переносья разошлись добрые морщины.

— Вы знаете, гитлеровцы оставили после себя не только руины. Во всем, чего они касались, пригасла жизнь. Поймите, мы не увидели у вас ни одного нового Стенерсена или Хорнсруда. Это — тоже от немцев. И это, конечно, временное. Но, по-моему, никто не будет в накладе, если мы сообща сократим это время. Как вы считаете?

— Да. Но ведь тогда мы вас побьем! — наивно воскликнул Ивар.

— Что ж, мы не боимся трудной борьбы,— спокойно отозвался Лубенцов.

Это было очень хорошо, очень душевно и очень человечно. Ивар теперь все понял и прочувствовал до конца. Случись подобный разговор до войны, он бы изумился куда больше, но теперь он был ко многому подготовлен. Хуже то, что эти слова требовали какого-то душевного знака, устанавливающего между людьми связь. Но Ивар всегда был тяжел и неловок, когда дело касалось таких вещей. И сейчас совершенно произвольно лицо его вытянулось и стало печальным. Покраснев от сознания своей неуклюжести и того, что гость мог принять это за холодность, он с усилием произнес:

— Вы очень хорошо говорите по-норвежски.

— Нет, я говорю плохо,— улыбнулся Лубенцов,— я учил язык только для чтения спортивной литературы. У вас до войны издавалось много книг о спорте.

— А я вот не знаю русского... Правда, однажды я начал понимать этот язык...

— В самом деле? — радостно вскинулся Лубенцов.

— Да, по-своему... Но это очень личное. Простите... товарищ.

Ивару стало вдруг очень легко, как будто прорвалась какая-то плотина. Две вещи, которые больше всего нужны человеку, вернулись к нему: доверие и цель.

— Вы не хотите прогуляться? — спросил он Лубенцова.

— К Нильсену? — улыбнулся тот, берясь за шляпу.

— Я скоро вернусь! — крикнул Ивар громко, чтобы Дагни услышала его в другой комнате.

Дагни услышала, и слабая, словно заблудившаяся улыбка всплыла на ее лице. Может быть, он вернется очень скоро, но она знала, что снова потеряла своего мужа, снова властно забрало его горячее мужское дело. Ее праздник кончился, начинались будни. Она вздохнула тихонько, как птица, и покорилась.

...Как и следовало ожидать, второй день розыгрыша не внес существенных изменений в соотношение очков: русские вышли победителями. Но после разговора с Лубенцовым Ивар почти с удовольствием вручил советской команде кубок — большую вазу с изображением ангелочков, державших венки.

Советские спортсмены в тот же день выехали в Осло для участия в больших международных состязаниях, которые должны были начаться через неделю. Ивар остался в Тронхейме, чтобы поработать с Нильсеном. Они решили выехать к самому началу соревнований. Но еще до этого Ивар получил письмо от Лубенцова. Тренер писал, что Советское правительство решило пригласить большую группу норвежских спортсменов для участия в зимних соревнованиях, которые начнутся в Москве в начале февраля.

«Решено не ограничиваться чемпионами,— писал Лубенцов,— всем вашим ребятам нужен опыт больших международных соревнований, чтобы войти в форму».

В числе прочих был приглашен и экс-чемпион мира Ивар Стенерсен для участия в забеге «старичков».

— Ты поедешь, «старичок»? — спросила Дагни.

— Поеду. Хочется посмотреть Москву. Но уверяю тебя, что к собственному участию в состязаниях я глубоко равнодушен...— В голосе Ивара звучала полная искренность, но в самой глубине души он сознавал, что жет...

8

День клонился в сумерки. Зеленоватое небо выгнулось куполом над глубокой чашей стадиона «Динамо». На середине ледяного поля в сиреновом луче прожектора танцевала рыжеволосая Лив Борн. Луч прожектора был почти невидим в зелено-фиолетовой дымке наступающих сумерек, и лишь яркий высверк блесков на платье Лив да светлый круг у нее под ногами обнаруживали его присутствие.

Оттянув край коротенькой юбочки, Лив мелко семеняла на носках, склоняясь то вправо, то влево. Она описала несколько плавных, легких полукружий, присела на корточки и стала выбрасывать вперед ноги, подражая русской пляске.

На трибунах зашевелились, посылались аплодисменты. Лив кокетливо привстала на носки, взметнув руки. Затем она покатила на одной ноге, откинув назад голову, так что конек другой, согнутой в колене, ноги почти касался волос; резким движением повернулась на сто восемьдесят градусов и повторила фигуру. Даже на таком расстоянии было видно, как напрягались суховатые связки на ее икрах. От лезвий коньков летели короткие сияющие стрелы.

Когда-то на Ивара все это действовало. Он даже был немножечко влюблен в Лив Борн. Теперь же ее совершенные, но шаблонные приемы вызывали в нем лишь усталое раздражение. В России Лив угощала зрителей присядкой, в Австрии — штраусовским вальсом, а в Дании — национальной свадебной приплясочкой.

Все это, в сущности, было очень мило, но Лив тоже выдохлась и никогда уже не станет чемпионом. Отплясав положенное, она придет в раздевалку и будет долго сидеть на скамейке, свесив руки и тяжело дыша, а потом с тревогой глядеть в зеркальце на свое лицо, бледное от пудры и усталости, и думать, что едва ли удастся ей подписать контракт с какой-либо кинокомпанией в будущем году.

Ивар сам понимал, что мысли его недобры и несправедливы в отношении Лив, но ничего не мог с собой поделать.

Острая и странная печаль не покидала Ивара все дни пребывания в Москве. А ведь его так тянуло в Москву и так по-хорошему дрогнуло сердце, когда, стоя у подернутого морозным потом вагонного окна и тщетно стараясь проглянуть даль, он вдруг услышал произнесенное проводником с нажимом на «а» «Москва!»...

Его тянули сюда и воспоминания молодости, и смутная надежда на встречу с людьми, с которыми однажды его свела судьба военных лет. Но едва он вышел на привокзальную площадь и увидел огромный, многолюдный город, он сразу понял, как наивны и ребячливы эти надежды. Он почувствовал и другое: что совсем не нужен москвичам, которых все спортсмены, когда-либо побывавшие в Москве, считали самыми строгими, самыми отзывчивыми, самыми лучшими зрителями в мире. Он был им нужен десять лет назад — в зените своих успехов и славы, когда весь семидесятитысячный стадион стоя приветствовал его победу. Но с тех пор утекло много воды: русские скороходы заставили потесниться его соотечественников, а сам он безнадежно выдохся. Он ничего не мог дать москвичам. Ничего, кроме забега «старичков» — жалкой богадельни!..

Ни теплый прием, оказанный норвежской делегации в Москве, ни дружба Лубенцова не могли вытеснить этой печали...

Но вот Лив, с силой оттолкнувшись, стала вертеться на правой ноге, все убыстряя обороты, пока не превратилась в бешено вращающийся пестрый столб. Затем тело ее словно переломилось в талии, корпус вместе с левой ногой вытянулся в одну прямую линию, параллельную земле. Это был коронный номер. Трибуны заплодировали, и диктор, чуть откашлявшись, шагнул к микрофону.

Лив катилась к выходу, раскланиваясь и посылая воздушные поцелуи, когда диктор, сообщив своему голосу торжественность, объявил:

— Четырехкратный чемпион мира Ивар Стенерсен и чемпион Европы тысяча девятьсот пятнадцатого года Василий Платонов на дистанции три тысячи метров.

На это объявление трибуны отозвались неясным шумом, смысл которого Ивар понял так: тут было и немного любопытства к бывлой знаменитости и разочарование, потому что забег не представлял спортивного интереса, а также удивление той, неизбежной на каждом соревновании, части публики, которая не имела понятия о программе состязаний.

Ивар покотил к старту, на ходу оправляя свитер. Платонов уже стоял у флажка, небольшой, коренастый, с седыми висками. Он дружески кивнул Ивару и улыбнулся. Ему было пятьдесят шесть. Уже лет двадцать, как он перешел в разряд «старичков», и совершенно спокойно относился к тому, что его выступление происходило вне программы. Он руководил конькобежной школой, и почти все русские чемпионы были его учениками. Он прошел большой и закономерный путь: когда время его собственных побед миновало, он продолжал побеждать в лице своих молодых учеников. От него веяло уравновешенностью и спокойствием. Иное ощущение владело Иваром. Он был на двенадцать лет моложе Платонова, и хотя достиг спортивной старости, но твердо знал, что проведи он последние пять лет иначе, он был бы еще способен к настоящей борьбе. Он не дошел до естественного предела, назначенного ему природой. Он был сломлен на самом разлете сил. И сейчас, при виде колышущейся толпы, от которой шли сильные, тревожные токи, слыша смутный говор тысяч людей, он чувствовал, что старое пробуждается в нем сладкой, щемящей болью. Он закрыл глаза и так, в темноте, выслушал короткий звук выстрела...

Они побежали. Платонов начинал по большому кругу и находился в нескольких метрах впереди. После второго поворота, при выходе на прямую, Ивар нагнал его и пошел рядом. Платонов шел упрямым, четким шагом. Ивар невольно залюбовался. Подумать только, человеку пятьдесят шесть! Наверно, он жил хорошей, размеренной, здоровой жизнью, если мог так сохраниться.

Сам Ивар шел широким, красивым шагом, тем самым, который некогда назывался «стилем Стенерсена», но теперь считался устаревшим, хотя в глазах знатоков не утратил своей прелести. Для его манеры был характерен плавный, необычайно ритмичный шаг. Со стороны он казался неторопливым, но это неверно: он давал очень сильный, упругий толчок и большую длительность скольжения. Казалось, что, выводя ногу вперед, Ивар пристукивает коньком об лед.

Ивар взглянул на трибуны. Ему показалось, что часть публики покинула скамьи, другая — занята разговорами, чтением программ. Ему стало горько. Так ли смотрели его бег в Давосе, Осло, Тронхей-

ме, да и в той же Москве до войны?.. Но сейчас он выдохся, и никому не было до него дела.

Он оглянулся на Платонова. Не слишком ли он его опередил? Ивара совсем не прельщала эта легкая победа. Но нет, старик шел рядом. Ивар немного сдержал шаг и дал Платонову обойти себя. На третьем круге он снова догнал его, а следующие два круга они шли конек в конек. Парень в белом свитере с красной стрелой равнодушно переменял щитки с порядковыми номерами кругов. Осталось четыре круга. Наверно, все с нетерпением ждут, когда кончится эта богадельня и снова начнется серьезная борьба молодых.

Лед молочно засветился изнутри, под ногами возникла черная тень, коротенькая, будто свернувшаяся в клубок, трибуны чуть отодвинулись, стали выше, огромней, они словно нависли над ледяной дорожкой — это зажглись фонари. Послышалась музыка. Старый-старый вальс, исполняемый на пиле. Звук был долгим и благостно-тоскующим. Под этот вальс было очень легко идти, его исполняли на всех стадионах мира и даже называть стали «конькобежным вальсом».

Этот молочный свет, как будто растворенный подо льдом, долгие, влекшие за собой звуки старого вальса пробудили тысячи воспоминаний. Жесточая печаль сдавила сердце. Ивар рывком подался вперед, словно пытаясь уйти от этой печали. И, как всегда, возникшее решение прозвучало в нем чужим, властным голосом: «Покажи им всем, что ты еще не мертвый...».

Впереди оставалось еще два круга, два огромных круга по четыреста метров, но Ивар решил на рывок. Он снял со спины сперва одну руку, затем вторую. На какой-то миг он вспомнил о Платонове, и ему стало неловко. Нехорошо обижать старика. Он обернулся со смутным намерением улыбкой, взглядом объяснить тому, что с ним происходит, но увидел, что Платонов приближается к нему, размахивая руками. Старик принял темп. «Ну и черти эти русские,— подумал с восхищением Ивар,— им все нипочем! Тем лучше, значит, просвет между нами не будет разительно велик».

Он сложился и, наклонив тело влево, пошел на поворот, энергично размахивая правой рукой и прижимая конек к самой черте.

Ивар все набирал скорость, хотя сердце больно колотилось, а в ушах стоял тяжелый гуд. «В человеке есть сила и еще немножечко» — вспомнил он, стараясь поверить в правду этих слов. Оставалось полтора круга. Он услышал несколько хлопков. Они жалко прозвучали в настороженной тишине и потерянно смолкли. Но он был благодарен неизвестному человеку. Выходя на прямую перед последним кругом, он увидел, что парень в белом свитере с красной стрелой готовится переменить щиток. Ивару хотелось, чтобы тот сделал это скорей, раньше, чем он пересечет черту. Ему так не терпелось увидеть щиток с цифрой «один»! Но человек в белом свитере держал щиток в руке, и перед Иваром упрямо маячила цифра «два», как будто бы ему предстояло еще два невыносимо длинных круга. Он не заметил, когда па-

рень в свитере наконец переменял штитки, но услышал голос диктора, объявившего, что Ивар Стенерсен пошел последний круг.

Ноги дрожали, ему казалось, что он бежит не по широкой глади льда, а по узенькой рейке и вот-вот сорвется. Воздух стал тяжелым и непроницаемым. Он охлаждал рот, но не давал притока легким. И все же Ивар чувствовал, что идет все быстрее. Раздались аплодисменты, а может, это только померещилось?.. Ивар чувствовал глухую злобу к людям, сидящим на трибунах. Они думают, что он для них старается. О черт! Ивар на какой-то миг почувствовал, что сейчас это случится. Конек попал в трещину. Ивар споткнулся. Тусклая желтизна льда приблизилась к его глазам. Невероятным, мучительным усилием он выпрямил корпус, взмахнул руками, удержал равновесие. Все же он далеко заехал на чужую дорожку и несколько секунд продолжал бежать по ней. Вся его отчаянная попытка была скомпрометирована. Он финишировал в бешеном темпе, как в дни молодости, но теперь все было испорчено. Да разве могло быть иначе? Наверно, и никакой трещины не было, просто дрогнули ослабевшие ноги.

Тяжело дыша, Ивар медленно катился мимо трибун к темному углу, где стояла машина для поливки льда. Он равнодушно выслушал, как диктор объявил его результат.

— Что ж, это неплохо даже для молодого бегуна средней силы. Тебе есть чем гордиться, Ивар,— сказал он с жесткой усмешкой.

Он услышал свое имя. Кто его зовет? Гуд в ушах несколько затих, и тогда Ивар услышал многоголосый крик:

— Стенерсен! Стенерсен!..

Его имя летело с трибун. И вдруг, совсем рядом, пронзительные мальчишеские голоса.

— Стенер-сын!.. Стенер-сын!..

— Ива-а-а-а!..

Ивар тяжело оттолкнулся и медленно покатился вдоль трибун. Он низко пригнул голову, но краешком глаза видел тянущиеся к нему руки, хлопающие ладоши.

Он ничего не понимал. Или русские, которым импонирует всякое проявление мужества, так оценили то страшное усилие, которое он сделал, чтобы не упасть? Неужели только это? Рассерженный, смущенный и грустный, Ивар поднял голову и взглянул на трибуны. Вместо холодного азарта, который он привык видеть на бледно-страстных лицах болельщиков, он прочел в глазах зрителей выражение большой человеческой дружбы.

— Кажется, я опять стал понимать по-русски...

И тогда Ивар гордо поднял вверх руку и помахал ею в воздухе. Он медленно объехал полный круг, и хотя не выиграл в этот день никакого первенства, он никогда за всю свою долголетнюю, богатую триумфами спортивную жизнь не испытывал такой полноты счастья.

Когда он пробирался сквозь узкий проход в раздевалку, он заметил Лив Борн, и его поразила тяжелая медь ее волос.

— Ты была замечательна, Лив,— сказал он, коснувшись ее тонкого и сильного плеча.

Она улыбнулась. В его душе не было больше несправедливости, и улыбка этой не молодой женщины показалась ему прекрасной...

СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мальчик, подающий мячи, не торопился кинуть мяч Панчо Моралесу. Эти мальчишки всегда знали, когда игрок торопится, видя в быстром темпе свое преимущество, и когда игрок на исходе, хочет потянуть, перевести дыхание, восстановить хоть малую частичку стремительно убывающих сил. Впрочем, что касается Панчо Моралеса, каждому все было ясно. Летающий Панчо, как прозвали его поклонники более двадцати лет назад, стремительный Панчо, самый быстрый и столь долго юный Панчо минул, а нынешнего, сорокадвухлетнего, с седыми висками Панчо уже не хватало на игру. Да, журналисты по-прежнему сравнивали его с пантерой, он и был пантерой по мягкости и взрывной силе движений, по невероятному прыжку, по когтистой цепкости, но постаревшей пантерой. Великолепный прыжок мог оказаться мимо цели, мощный удар — несмертельным. Но главное — он быстро уставал, его прежняя хваленая выносливость обернулась отчаянным умением вытягивать из себя все жилы, не скисать к концу игры, а производить — особенно на профанов — впечатление такой же моторности, собранности и легкости, как и вначале. В последнем гейме пятисетевой партии он мог так же высоко подпрыгнуть, так же дотянуться до мертвого мяча, так же стремительно выбежать к сетке, но это было имитацией подлинного его искусства, ибо после серии великолепных ударов следовала грубейшая ошибка, сводившая на нет все усилия. Зрителям подобные промахи казались случайными, некоей фатальной и таинственной неудачливостью великого игрока, на самом деле то была расплата за полет, на который он уже не имел права. Впрочем, и сейчас любую партию он начинал безукоризненно, и если ему удавалось сразу подавить противника, то он выигрывал в трех сетах, реже — в четырех. Но стоило противнику выдержать штурм, затянуть игру, и Панчо был обречен. Пятого сета ему было не взять и у игроков много ниже классом. Сейчас как раз шел пятый, решающий, сет финальной встречи Эслингтонского турнира, именуемого «малым первенством мира». Так называли этот турнир в отличие от Уимблдона — «неофициального первенства мира» и открытого чемпионата Франции, считавшегося первенством мира на грунтовых кортах. Эслингтонский турнир собирал почти всю теннисную элиту, но это «почти», видимо, и делало его «малым» чемпионатом мира. Он шел после всех главных соревнований года, и в

нем не участвовали иные видные любители: не хватало ни пороха, ни досуга, да и среди профессионалов оказывались к этому времени серьезно травмированные.

И вот Панчо Моралес, имея в пятом сете на своей подаче сорок — пятнадцать, как никогда был близок к самой большой победе за последние годы своей долгой теннисной карьеры. Более двадцати лет назад, выиграв «большой шлем» и возглавив мировую десятку, он перешел в профессионалы. У молодого костариканца, приехавшего в Соединенные Штаты искать счастья, не было иных средств к существованию. В ту пору Крамер еще не собрал своей знаменитой банды, и Моралес развезжал по свету с баскетбольной труппой «Глобб-ундерерс». Хотя теннис у «Черных странников» шел как бы на закуску — показательные выступления, — зарабатывал юный Панчо совсем неплохо. В отличие от своих коллег, игравших только на публику, Панчо, не чураясь эффектов, играл на выигрыш. Он не разучился, а научился побеждать в этом цирке, отбирая из всех приемов, способных расположить публику, лишь нужные для победы. Он так и не приобрел красивого постава игры, но, прибавив к своему большому росту — 192 см и могучим рычагам — «гориллы лапы», злобствовали недоброжелатели, — невероятную прыгучесть, стал подлинным хозяином площадки, совершеннейшим выражением того, что называют: «all-court player». В труппу Крамера он вошел первым номером и в течение последующих лет никому не уступал своего превосходства. И не заметно было, когда начался спад. Как вдруг в новой табели о рангах, объединившей профессионалов и любителей, он оказался на последнем месте. Конечно, эта весьма условная и спорная классификация дает лишь относительное представление о соотношении сил в мировом теннисе и на место в десятке с полным правом могут претендовать еще пять-шесть равных по классу и равно прославленных игроков, все же лишь попавшие в таблицу — принцы крови теннисного королевства.

Конечно, его престиж, его поистине легендарная слава ставили Моралеса над всей этой жалкой арифметикой; время шло, создавались и рушились репутации, а он оставался все тем же «летающим Панчо», единственным и неповторимым. Тем же?! Да, но в чьих глазах? В восторженном лупоглазье сидящих на трибунах, но не в холодных зрачках менажеров и не в беспощадном прищуре соперников, особенно профессионалов. Еще немного — и магия его имени развеется окончательно: они поймут, что могут обыгрывать его всегда. Только не надо бороться с ним на равных, стараться превзойти его мощью и техникой игры, надо брать его на измор.

...Вот и сейчас, его отделяет от победы всего одно очко, одна хорошая подача, один быстрый выход к сетке, одно-единственное усилие, за которым приз, место в десятке, возможность еще по меньшей мере год эксплуатировать свое грозное имя и брать с Крамера экстра-гонорар и, наконец, то, что важнее приза, престижа и денег — отдых, глубокий, спокойный отдых. Если он проиграет, отдыха не будет, он

живьем себя съест. Прометей и орел в одном лице, он расклевывает собственную печень.

Итак, одно последнее усилие, но он не мог собраться, и мальчишка, подающий мячи, знал это и потому медлил. Откуда мог этот бледнокожий, веснушчатый мальчонка знать, что испытывает «летающий Панчо», а проще — немолодой, усталый костариканец? Черт его знает! Мальчишка вырос возле корта, он пропитан теннисом, как кабина душевой запахом мужского пота. Он и сам наверняка будет теннисистом и пройдет через все радости и разочарования, неотделимые от этой игры, нет, не игры, а странной, причудливой формы существования, ибо теннис не оставляет человеку иной жизни. Дитя, возвращенное близ зеленого ворса теннисной площадки, как бы запрограммировано на будущее. И оно уже все знает — не умом, конечно, а тем, что умнее ума...

Осторожно, носом, но очень глубоко Моралес вдохнул и так же осторожно, чтобы не дрогнули предательски крылья носа, выдохнул воздух. Затем он чуть скосил на мальчишку плоскости желтоватых белков, и тут же два тугих теплых мяча привычно легли ему в заклеенную пластырями, истрескавшуюся ладонь. Он занял позицию, сильно прогнулся, подкинул мяч и ударил.

Принц-консорт вздрогнул и больно прижал бинокль к переносью. В неправдоподобной близости увидел он «летающего Панчо» и невольно отшатнулся, будто и впрямь, давя на глаза и лобные пазухи, к нему подсунулось серо-лиловатое, а вовсе не бронзовое, как казалось издали, лицо с оскалом мертвеца, запекшимися губами и пунцовым наливом в углах желтых тигриных глаз. Ужасное лицо, изглоданное вечным напряжением, вечным боем с противником, с самим собой, с надвигающейся старостью, изможденное, страстное, несчастье и некротимое лицо воина, знающего, что в обойме остался всего один последний патрон. Затем лицо исчезло, в окулярах — какой-то странный промельк, принц-консорт отнял бинокль от глаз. Некогда безошибочная подача подвела «летающего Панчо» — мяч угодил в сетку. Тылом руки, держащей мяч, Панчо провел по надбровным дугам, словно смахивал капельки пота. Машинальный жест, оставшийся от той поры, когда молодое, крепкое тело отдавало избыток тепла здоровым потом. Сейчас он всегда оставался сухим, жар словно перегорал в нем.

Снова с автоматической точностью повторяются десятилетиями отработанные движения, Моралес не делает ни малейшей скидки на вторую подачу, ибо его единственный шанс — атаковать, и укладывает мяч в ту же ячейку сетки.

Принц-консорт почувствовал, как кровь отхлынула от щек. Ну какое ему дело до этого американца костариканского происхождения? И в судьбе Моралеса ничего не изменится — выиграет он или проигрывает. Игра давно уже сделана. Моралес — владелец модного и дорогого теннисного ранчо во Флориде, с бассейнами, площадками для игры в гольф и конюшней верховых лошадей, его клиентами являются

самые фешенебельные нувориши Америки. Он не пропадет, и дети его не пропадут, если у него есть дети. Но почему же так мучительно хочется, чтобы победил Моралес? Принц-консорт даже представить себе не может, что придется вручить кубок не Моралесу, а его молодому и очень симпатичному противнику с длинными, как у хиппи, волосами, подвязанными черной ленточкой...

Вручать Эслингтонский кубок было неременной и почетной обязанностью, вернее, привилегией принца-консорта. А еще в его обязанности входило присутствовать на всех торжественных церемониях об руку с супругой — королевой и продлевать королевский род. Но вручение кубка было самой приятной обязанностью. Впрочем, не всегда. Четверть века назад, когда молодой герцог Эслингтонский обручился с королевой, самым приятным было продление рода. И не его вина, если эта главная, священная и сладчайшая из его обязанностей оказалась так плохо выполненной. Королева с добросовестностью какой-нибудь фермерши отзывалась на его ласки, но дети рождались слабыми и почти все умерли в младенчестве. Наследницей престола на сегодняшний день являлась семнадцатилетняя Валерия, но она оказывала преувеличенное внимание цирковым гимнастам, и были все основания опасаться, что брак с каким-нибудь унтерманом она предпочтет престолу. В замену ей имелась маленькая Элизабет, но народу вообще надоели особы женского пола на троне Джона-Завоевателя. По роковому стечению обстоятельств вот уже два столетия смелым и уважающим мужские доблести народом правили женщины. Между Марией Блудливой и Анной Преданной (прозвание супруги принца-консорта), то промелькивая со скоростью кометы, то сияя долгой зимней звездой, чередовались Валерии-Пряхи, Анны Долготерпеливые, Елизаветы Кроткие, Марии Кровоточивые, но не было ни Джона-Льва, ни Карла Любезного, ни хотя бы Вильгельма Плешивого, и народ устал.

Принц-консорт тоже устал. Он любил королеву, но какая любовь сохранит свою свежесть, свой пыл, если она — по обязанности? Если объятие становится неременным, как для клерка — брюки в полоску? Перестаешь чувствовать себя в ряду великих любовников и занимаешь место в ряду великих производителей, вроде Резвача II, при этом так и не дав ни одного рекордсмена. Но это уж не его вина! А чья? Говорят о дурной крови королей. А кто знает, лучше ли древняя кровь герцогов Эслингтонских? Как ни крути, он выходит виноватым. Королева остается королевой, но его существование бессмысленно. Нельзя же, в самом деле, тратить на него деньги нации лишь ради того, чтобы он присутствовал на званых обедах, приемах, скачках, открытии памятников, раздача наград в колледжах и вручал кубок, носивший его родовое имя! Принц-консорт вдруг понял, почему он страдает Моралесу. То было корпоративное чувство профессионала к профессионалу. Каждому из них дано воплотиться лишь в своей профессии: Моралесу — в спорте, ему — в любви. И принцу-консорту страшно видеть

падение Моралеса, ибо за этим он видит и свое окончательное падение. Он всем существом понимает муку костариканца, для которого борьба и победа важнее всех малых материальных выгод,— истинный профессионал не имеет права отступать.

...И снова веснушчатый мальчик неприметно для зрителей тянет время, чтобы дать Моралесу собраться с силами.

Волосатый Осборн ждал, ни малейшим движением не выдавая своего нетерпения. Этот независимый профессионал — крепкий парень! И как не вяжется его спортивная собранность, выдержка, хладнокровие с волнистыми кудрями до плеч, забранными черной бархатной ленточкой, нарочитым колечком усов и бородки вокруг маленького пунцового рта, этакого жеманного ротика в стиле красавиц восемнадцатого столетия! Как должен ненавидеть его Моралес! За женственность, за нежелание проиграть и за свою смертельную усталость. Когда в полуфинале Панчо играл против любителя Иенсена, заметно уступающего ему в классе, и легко выиграл в трех сетах, он даже не счел нужным похлопать того по спине — традиционная любезность в отношении побежденного. Во время игры Иенсен, гордый тем, что прорвался в полуфинал столь крупных соревнований, исполненный умиленного почтения к своему знаменитому сопернику, вел себя наивно-трогательно. Каждый удачный смэш или дроп-шот Моралеса он сопровождал восторженным воплем, воздевал руки к небу, словно призывая господа бога в свидетели, что не виноват в пропущенном ударе. Раз даже присоединился к аплодисментам зрителей после какого-то особенно эффектного прыжка Панчо. Он ничего не выгадывал для себя: состоятельный, независимый человек, он не помышлял о переходе в профессионалы и не играл на публику, просто был добр и рыцарственно благороден. Но по окончании игры в ответ на его крепкое, обеими руками, пожатие Моралес лишь зыркнул своим желтым тигриным взглядом и, ни слова не обронив, пошел прочь. И принцу-консорту показалось, что он ненавидит голубоглазого датчанина. За что? За непрофессионализм, за то, что тот явился пусть легким, но все же барьером на пути к победе, за то, что заставил потратить на себя силы, причинил усталость, лишний раз напомнил о годах, о близости неизбежного ухода? Ненависть Моралеса относилась не к Иенсену-человеку, не к Иенсену-игроку, а к Иенсену-соринке, попавшей в глаз, Иенсену-сучку, зацепившему за платье, Иенсену-ничтожной помехе. Как же должен он ненавидеть Осборна, забирающего у него всю силу, высосавшего его, как пивка!..

Звук удара по мячу упал принцу-консорту в самое сердце. Грандиозная, сокрушительная, феноменальная подача Моралеса наконец состоялась. Мяч, ставший белесым диском, коснулся травяной щетины корта и, казалось, лишь чудом не ушел в грунт. Осборн принял подачу. И не просто принял, а ответил сильнейшим драйвом и ринулся к сетке. Видимо, Моралес действительно был на пределе: вместо того чтобы дать высокую крученую свечу — лучшее оружие против

нерослого противника, — он попытался обвести. Удар получился робким. Осборн был на месте, он улыбался своим пунцовым ртом. Моралес знал, что мяч проигран, а с ним и второй матч-болл, и позволил себе слабость: его желтый, отчаянный, почти безумный взгляд скользнул по трибунам, словно взывая о помощи, и на какой-то миг скрестился с взглядом принца-консорта. Это случилось в то самое мгновение, когда Осборн, предпочтя из всех эффектных возможностей выигрыша простейшую и надежную, срезал мяч вдоль сетки.

Вопреки приличию и своей пресловутой выдержке, принц-консорт вскочил. «Не умирай!» — сказали его глаза, и то было приказом и мольбой.

Еще не замер тяжкий вздох трибун, когда Панчо Моралес прыгнул. Казалось, что в воздухе он еще раз оттолкнулся — все сидящие на трибунах отчетливо видели, как, провиснув на миг, он сделал второй рывок, не коснувшись ногой земли, — это было, как если бы в два прыжка одолеть пропасть. Он оказался возле мяча прежде, чем тот вторично коснулся земли. Панчо сделал странное движение ракеткой, будто ковырнул, и Осборн, не шелохнувшись, зачарованным взглядом проводил летящий вдоль линии коридора мяч.

— Игра! — бесстрастно сказал старый, крючконосый судья, похожий на ошипанного ястреба.

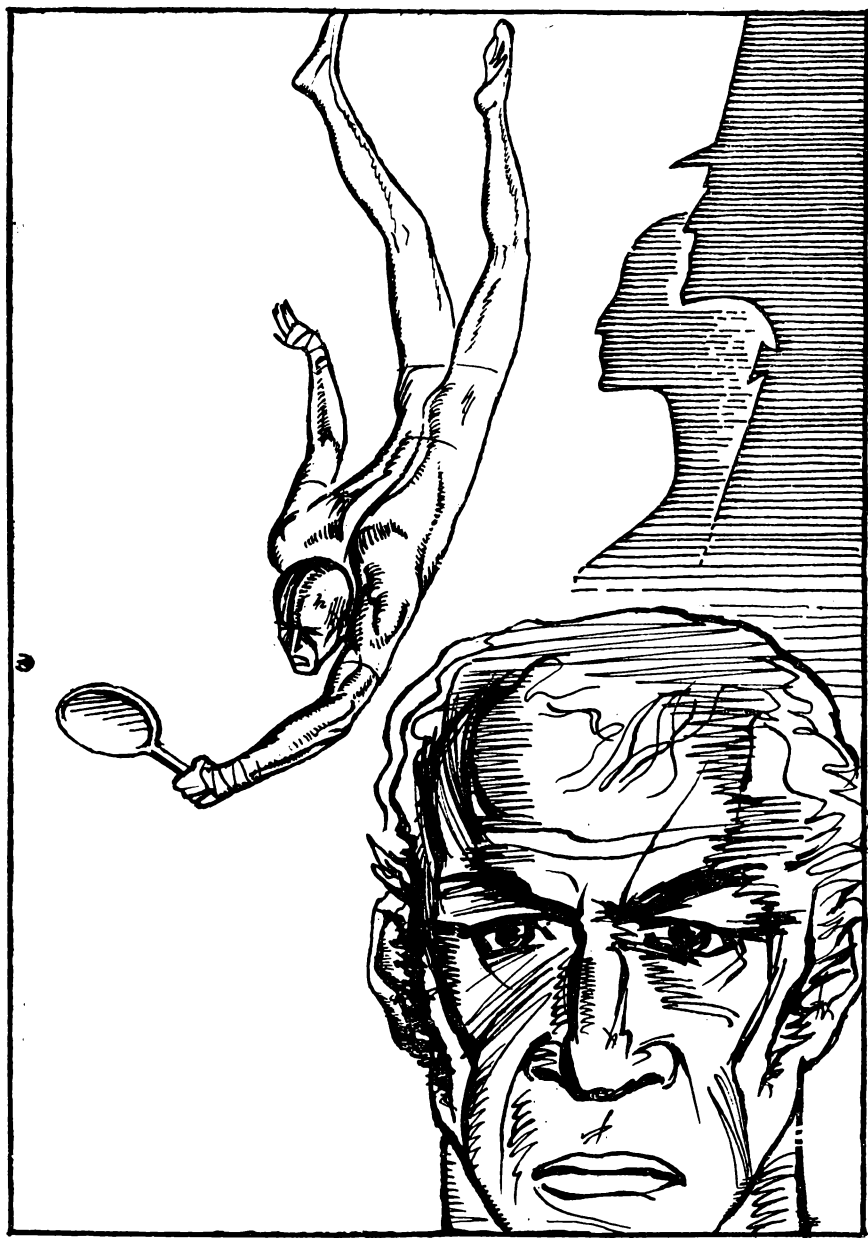
Осборн развел руками, присел и не то расплакался, не то рассмеялся: его узкая спина с юношески острыми лопатками ходуном ходила. Затем он поднялся, хохоча, но из глаз его катились слезы, и, перепрыгнув через сетку, кинулся к Панчо Моралесу. И тут только трибуны поверили в случившееся и взорвались аплодисментами.

Моралес стоял неподвижно, все его тело оставалось сведенным, полускрюченным родившимся в нем странным ударом, пепельное лицо казалось мертвым. Он не шелохнулся, когда Осборн стал хватать его за локти, что-то иступленно крича. Затем, отстранившись, он медленно распрямился, переложил ракетку в левую руку, а правую поднял, словно хотел ударить Осборна. Его большая, истрескавшаяся ладонь мягко опустилась на узкую, мальчишескую спину, и длинные пальцы чуть потрепали обросший загривок. Осборн вымотал его, выпотрошил напрочь, но он же показал Панчо, чего тот еще стоит, и старый боец был благодарен ему за это...

Вручая кубок Панчо Моралесу, принц-консорт к обычным словам приветствия неожиданно для самого себя добавил:

— Если б вы знали, как я желал вам успеха!

Бесстрастное бронзовое лицо — отдохнув, Панчо вернул себе обычные краски — дрогнуло. Бывают минуты странной, высшей жизни, когда словно вступают в действие дремлющие резервы личности, некий нетронутый запас, и человек становится властелином своей памяти, сознания, внутреннего времени, может бешено ускорять его и почти останавливать; когда слабая, рассеянная человечья суть становится равной своей скрытой подлинности, а вялая пронизательность — спо-



способностью читать свое и чужое сердце. В мозгу Панчо Моралеса все события и переживания последних часов медленно заскользили назад — так бывает в кино, когда пускают изображение вспять: вот он снял с себя вязаный свитер, рубашку и легкие брюки из светло-серого альпака и оказался голым под душем, больно и приятно нахлестывающим измученное тело; из-под душа он вышел не чистым и освеженным, а грязным, усталым, и на нем была его теннисная аммуниция, и ручка ракетки прилипла к ладони, сочащейся из-под пластыря сукуровицей; затем возник белый шарик, будто скатывающийся по сетке, и ощущение своих вытаращенных отчаянием глаз, и розоватая смазь лиц на трибунах, и чей-то взгляд в упор, хотя издали, взгляд прямо в мозг, в сердце, и горячий толчок крови, толчок не безумной надежды, а необъяснимой, вздох веры, что чудо свершится... Неужели этот взгляд принадлежит принцу-консорту? Панчо внимательно, не мигая, увидел обманчиво спокойную синь глаз и горькую складку у губ. Вон что! И его не помиловало время, и в его дверь постучалась осень!..

Летающий Панчо улыбался редко, но он еще не разучился улыбаться. Сухие, заветренные губы дрогнули и поползли в опасной улыбке доброго людоеда, открыв все тридцать два белейших зуба.

— И я желаю Вам успеха, Ваше высочество!..

Принц-консорт высокомерно вскинул брови и ничего не сказал.

Вечером состоялся традиционный бал в честь закрытия турнира. И, как всегда, бал открыли победители одиночных соревнований штраусовским вальсом. Высокий, закованный в черную фракную пару, как в латы, привычно угрюмый Панчо Моралес твердо, даже жестко кружил маленькую, с дерзко вздернутым носом Кольман-Вейс, и взгляд его был устремлен поверх партнерши, поверх праздничной толпы, сквозь толщу стен, туда, где его снова ждала травяная, или грунтовая, или деревянная гладь, смертное напряжение, резь в глазах, саднящая боль в ладонях и новое насилие над своей плотью и духом...

...Принц-консорт вернулся поздно. Приняв душ, надел легкий японский халат и, закулив сигарету, довольно долго стоял у окна, глядевшего на высокие темные дубы. Затем, решительно погасив сигарету, он толкнул маленькую, скрытую в стене дверь и оказался в королевской спальне. Королева сидела у туалетного столика и кончиками пальцев медленно и задумчиво втирала крем в изморщиненные подглазья. Как и всегда перед зеркалом, вид у нее был печальный.

— Вы давно вернулись? — спросила она.

— Нет, только что. Было очень мило, впрочем, как и всегда.

Он смотрел на осунувшееся лицо, дряхлую шею, обнаженные по локоть какие-то крапчатые руки в паутинке мельчайших морщин. Куда девалась розовая, чистая, атласная плоть, словно только что вышедшая из мощно-нежных рук Творца? Истратилась в бесчисленных, большей частью ненужных родах, в долгих недомоганиях, в мучительном и тщетном женском труде. И все-таки...

Он подошел, взял ее худую, почти невесомую голову в руки и поцеловал в глаза и уголок рта. Слабый румянец выступил на бледных щеках. Она провела тылом ладони по лбу.

— Что с вами, Эдуард?

Он молча поднял ее с кресла и привлек к себе.

— Боже мой! — сказала женщина глубоким и жалким голосом. — Неужели я еще желанна вам? Вы любите меня, Эдуард?

«Не в этом дело, — думал он, покрывая поцелуями все задрожавшее бедное, когда-то безмерно любимое лицо. — Любовь, страсть — дым, тень дыма. Есть вещи поважнее».

..— Да, мальчик, мальчик, Эдуард! — были первые слова королевы.

Она чуть подняла голову над морозной белизной подушки, голос звучал взволнованно и молодо. Прежде роды опустошали, старили ее, а сейчас она казалась помолодевшей лет на десять.

— Но какой странный мальчик, — таинственно и счастливо произнесла королева. — Если бы я не была Анной Преданной — так, кажется, зовет меня мой добрый народ, — вы вправе были бы обвинить меня в неверности.

— Что так? — рассеянно спросил принц-консорт и добавил с улыбкой. — Он безобразен?

— Он чудный! — воскликнула королева. — Но он вовсе не похож на вас.

— Бывает... — пожал плечами принц-консорт. — Греки ставили в спальнях новобрачных красивые статуи, чтобы будущим детям сообщалась красота этих статуй...

— Эдуард! — королева молодо вспыхнула. — Я не принадлежу к тем женщинам, что, обнимая мужа, думают о другом!

Принц-консорт наклонился и поцеловал жене руку.

Вошла огромная, величественная и светлая, как Эслингтонский собор, кормилица, шурша крахмалом девственных одежд, на руках у нее был младенец: бронзовый божок с черными, ночными глазками и с темным пушком на темени. Самым поразительным в этом младенце было то, что его крошечное сморщенное лицо обладало сложным выражением, как будто он уже успел нажить себе характер.

— Ах дьяволенок! — пробормотал принц-консорт.

— Четыре с половиной килограмма! — с гордостью сообщила кормилица.

— Отлично! — Принц-консорт странно, простонародным движением потер руки. — Так и должно быть!

— Что вы имеете в виду? — удивленно проговорила королева и, не дождавшись ответа, тревожно добавила: — Только бы его не постигла участь других наших мальчиков.

— Нет, — сказал принц-консорт с удивившей ее спокойной твердостью, — этот парень будет как железо.

ла 31 коп.

